

Михаил ТОКАРЕВ

И НАШИ МАТУШКИ УКРАДКОЙ ЧИТАЛИ ТОКАРЕВА МИШУ,  
ПОШЛЯКА И БОНВИВАНА

Роман

**В первой главе говорят о доступном жилье, говорят красиво, порою даже излишне**

*...И лицедействует зима, и Гурченко Людмила едва ль еще жива. Давай сегодня без хи-хи, в ре-актор стержни опускать не как пакетик чая, осторожно. И развалились сапоги, и керосина нету, а все-таки придется нам пройти такой маришурт, крутой маришурт, идти которым не с руки, покуда свет, надежды свет, обманчивый, непостоянный, почти погас там впереди. А Юнна Мориц как всегда проснется в пять часов утра в тумане вешнем, как сущенка, зажжет над жизнью верхний свет. Тревожась понапрасну мать, пригодно ли жилье для детства, пригодно, милочка, пригодно, воскликнет Ольга, пригласит на чай морковный, блокадным вечером зажжет ночник, и жук, и бабочка на абажуре. И вечной мерзлоты края, и наша мать там у окна дежурит. Дрожит стекло, на сон она читает сказки о котях, чудесных мейн-кунах, мы все когда-то будем юны. И легче ветра, темнее света, шумней травы, оставьте человека у реки-окна с собой наедине, пусть слышит сказку о котях, о чем еще нам слушать сказки...*

По тревожной, словно рыбная косточка в неопытном горле, наледи, на лыжах скользила девчонка, по самому зеркалу стоячих вод, вдоль Шестого микрорайона, огороженного колючей проволокой, скользила. И была зима, и лето было. Ее светло-желточная шубка, созвучная оперению птенца, напоминала так же мимозу; респиратор лепесток, выбившаяся из-под вязаной сиреновой шапки с помпоном волнистая прядь волос, тяжелое дыхание, поблескивающий от пота сократовский лоб. Красные, словно накладки на рукоятке швейцарского ножика, гольфы девчонки манили порыжелую, с белыми опалинами по бокам, двухголовую дворняжку. Животное, радостно виляя обрубок хвоста, нелепо семенило за человеческим детенышем, приветливо поскуливая. Левая, черно-белая голова, обращенная вбок, была безмолвна, из ее приоткрытой пасти тянулась паутинка хрустальной слюны; кроме пищевода, трахеи, да желудка бедняжек ничегошеньки не связывало, разве что всеобъемлющая любовь Господа нашего Бога их связывала. Вполне вероятно, пересаженная голова черно-белой собачонки отчаянно страдала, ее глаза заволкло пеленою предсмертного равнодушия. Ах вы, Демиухов, Демиухов, такой вы противный ученый, но это не мешает преклонить колено перед вашими изысканиями в области геной инженерии, а также горячо осудить самыми паршивыми словесами данные эксперименты над несчастными собаками, подумала девочка, терзаемая думами о судьбах Муму, Шарика, Каштанки, даже судьбой Моськи совестливая барышня обеспокоилась. Воспитанная на книгах «Сто один далматинец», «Белый Бим Черное ухо», вскормленная молоком блокадной коровы, Юленька искренне горевала о всех увечных и несчастных зверятах.

На улице Курчатова, заросшей непокорной травой в человеческий рост, девочка в нерешительности остановилась, размышляя, каким образом ей лучше обойти участок могильника, по

---

Михаил Токарев родился в 1996 году в Иркутске, переехал в Москву, окончил институт журналистики и литературного творчества в 2018 году, в 2020 году окончил магистратуру РГГУ. В «Волге» опубликованы рассказ, четыре романа, повесть (2021–2024).

самой ли кромке, иль пробежать напрямик, подобно тому, как русский офицер Сергей Мерзелкин пронес на руках по минному полю раненного солдата. Натальный розовый дозиметр, украшенный наклейкой принцессы Рапунцель, премило попискивал, он насчитал совершенно детские тридцать микрогенгтен в час. Но стоило сделать шаг вон к тому холодильнику «Снежинка», из которого торчал детский трехколесный велосипед, тотчас помутнеет рассудок, а кожа покроется неприятнейшей сыпью, кожу потом будет легко снимать, точно чулок со своего юного тела. Отчего-то позабыла прихватить таблетку апрофена, даже паршивого индралина Б-190 не взяла, что ж теперь, облучаемся на радость однокласснице-завистнице, Кристине Барановой, грустно размышляла Хомякова. А вот за оврагом ближе к сельскому клубу начинался Дом культуры, где устраивались дискотеки-смотрины. Приезжали девчонки и парни из деревень. Ночами томными, как рассказывали старшие сестры подружек, внутри старого клуба играли песни «Миража», «Ласкового мая» и даже песни Софии Ротару, подростки там пили водку и даже целовались. А ведь одной строчкой о лете, прошедшем, словно и не бывало, София Ротару заслужила себе место в учебнике по литературе, рядом с Ахмадулиной, по меньшей мере. Или Арсений Тарковский заслуживал то место, кто ж разберет, я не сильна во всех этих морфемах, фонетике, лексикологии. Повеселевшая Юленька взбирается на крышу недействующей кареты скорой помощи, за рулем которой сидит человек, обтянутый пергаментной кожей, наверное, фельдшер, или простой водитель, кто ж разберет. Оттуда открывается вид на бесконечный лес, рыжие деревья, пред самой кромкой леса земля как будто выжжена. Понатыканы тут и там желтые треугольники со значками радиационной опасности. Сбор грибов, ягод строго запрещен! И это хорошо, что запрещен, не знакомая с сарказмом, думает барышня.

Хомякова тактически отступила к вывернутым недюжинной силой металлическим воротам скотного двора. Не ко времени проснувшийся черный аист, сосредоточенно щуря красные глаза, степенно выбрался из трактора с приплюснутой кабиной, глубоко ушедшего гусеницами в чернозем, цветом тракторишка напоминал рисовую кашу, разваренную в чугунной кастрюле, грязно-молочное такое месиво. Стук птичьих когтей по крыше трактора возмутил полевку, что стремглав нырнула в сухие кусты боярышника, обступившие плотной стеной дачный домик сторожа, где время от времени мальчишки-студенты биологического училища под покровом ночи выращивали гомункула и изобретали философский камень. Туманные дни, стоявшие вокруг, и мерзлой поступью январь, шагающий по кладбищам да по деревьям, радиоактивным отстойникам, уже не пугал, девочка как будто стала привыкать к этой новой, удивительной жизни. Недавно закопали деревню Выгребная Слобода, и триста шестьдесят два человека, что в ней проживали – вынуждены были уехать. Село Копачи, Семеходы, Шепеличи пропали, словно игральные карты в рукаве Амаяка Акопяна. В шепоте почерневшей листвы продолжало мниться старческое бухтение. На буро-красных соснах выступила сукровица, кровоточащие деревья издавали еле слышный жалобный писк. Причудливо выгнутые сосенки обступили запущенную свиноферму, двухэтажное кирпичное строение в форме буквы П, где по слухам водились мутировавшие свинки, овладевшие примитивной речью. Но пусть это вас ничуть не смутит: свиньи, подобно попугаям, лишь воспроизводили услышанные ранее реплики. Недели две назад пожилая соседка-самосел по доброту душевной отправилась в свинарник, подкормить краюшкой хлеба горемык. Потом даже косточек не нашли.

Над провалом черепичной крыши клубилось пылевое облако, в нем угадывались гипертрофированные силуэты лиц, Брежнева, Ельцина, широко раскрытые рты, предлагающие очередные инициативы, иль то фантазия безмерно разыгралась. Безветренна погода, и стрекот полуметровых цикад, насекомые встречались теперь и осенью и зимою, да такие огромные, видно, приспособились к новым условиям. – Куды ж, куды ж, ням-ням, солдат, солдат! – как сумасшедшая бабка причитала свинья, грузно ходила по свинарнику, не решаясь явить себя миру. От самой атомной станции доносились гудки промышленных механизмов. В стороне плескалась электрическая речка, дробные удары металла о металл, как будто исполинское дитя забавлялось, стуча шпалами, как погремушками. На многие километры вокруг простирались обескровленные де-

ревни, незасеянные поля, впрочем, засеяны они были, но это совсем другая история. Посещать те поля строжайше запрещалось службами безопасности, коих развелось теперича что вшей в хостелах, где сплошная антисанитария. Тебе тут и группы экологов, участковые, батальоны солдат: все бдят, предупреждают, сюда не ходи, туда не ходи. По временам встречались праздные туристы, вдохновленные писаниной Айзека Азимова, Роберта Шекли, Уильяма Гибли да прочими белыми мертвыми мужчинами. Впрочем, чего это я о мертвых белых мужчинах, была еще Урсула Ле Гуин, к чему читать о Земноморье, злых колдунах, мне было исключительно непонятно и неинтересно как-то, простите, Урсула Ле Гуин, но вы пишете третьесортное сочинение, как я провела лето в плену домашнего тирана. Этого я не понимаю, в каждой семье, что заселилась по социальной программе в Припять, был отец, была мать, сирот я не встречала. И что-то тиранов я не встречала. У нас в школе, единственной на весь город, в ДК «Энергетик», дети пишут не в пример талантливой. Порой думается мне, мои одноклассники станут лингвистами или библиотекарями.

В неизбывном стремлении попасть на рождественские гуляния к своему однокласснику девочка чрезмерно спешила. Едва не ступив в горячее пятно, скопление жгучего пуха у самой автобусной остановки, она вовремя замерла, по счастливой случайности нога не сделала шаг, послышалось разочарованное шипение, клубок ржавой пакли пришел в движение, его подхватил ветер, понес в сторону портовых кранов. Свисающие с козырька остановки сизые волосы, напоминающие растрепанную, седую шевелюру, могли обжечь кожу на голове, а также оставить болезненные ранки на долгие месяцы. Этого еще не хватало, недавно избавилась только от экземы. Хомякова упустила из вида что-то важное, какая-то незначительная деталь не давала покоя. Девочка шла по разбитому шоссе. Осознание пришло внезапно, подобным образом приходит осознание к неопытной девятикласснице: забеременела; Хомякова, конечно, не забеременела, она потеряла подарок для Коли Рыбкина, но ни в коей мере не разволновалась, ибо гражданин, лишившийся денег, жалобно хнычет, гражданин, потерявший друга, несет свое горе молча, те же, кто растерял совесть, не замечает вовсе подобной ерунды. Совесть, по мнению Хомяковой, непозволительная роскошь в нашей жизни, где прозу скучного Александра Фадеева хотят ввести в школьную программу. Быть совестливым человек совсем необязательно, грех корысти, как говаривала бабушка Юли Хомяковой, да сдача немцам без боя, да аборт, да рукоблудство, дальше Юля не могла припомнить, какие еще чудовищные преступления присутствуют в жизни добропорядочных девиц. Кстати сказать, бабушка всю свою жизнь проработала в КГБ. Когда она вышла на пенсию, ее стали частенько приглашать на разговоры о важном на школьные занятия, Юле всегда доставалось, вероятно, родственница не желала, чтобы внучку считали любимицей. Однако все рассказы бабули сводились к тому, под каким углом лучше всего бить ледоколом предателя так, чтоб наверняка. Девочка вскарабкалась на электричку, ушедшую под углом в тридцать градусов, да в замерзшую речку. Оттолкнувшись лыжными палками, она помчалась с ветерком по крыше, речка была неглубока, правда, свалиться в ледяной водоем Юля страшилась, фиг потом просушишься. Можно было, конечно, и обойти по берегу, просто не хотелось лишний раз повстречаться с грешниками, как они сами себя называли. Послушники, придумавшие себе новую веру, жили в старых машинах, молились карбюратору, а тела их покрыли уродливые язвы.

Юленька Хомякова шла мимо отреставрированного кинотеатра «Прометей», куда по-прежнему не пускали детей до шестнадцати. Сегодня там показывали два сеанса: «Эммануэль» семьдесят четвертого года выпуска и кинофильм Арсения Тарковского «Сталкер». Парк аттракционов метрах в трехстах не работал. Ржавая ракета покачивалась от ветра, скрежетала. В вестибюле старушка в стеклянном аквариуме, в синем халате торговала сладкой ватой, едва слышно звучала песня о пластилиновой вороне. И если бы даже на земле не осталось ни одного кинотеатра, а граждане неумолимо сгорели в радиоактивном пожаре, восседая перед неработающими экранами собственных телевизоров, мальчишек и девочек, которым не исполнилось шестнадцать, на сеанс до шестнадцати все равно не пустили бы, ибо правила для всех одинаковы.

Два ряда колючей проволоки по самому берегу, мочить ножки в реке Припять категорически не позволялось. Хомякова оступилась, не глядя поставила ногу на ступеньку, потом рухнула

в кусты сирени, сирень была какая-то неблагоприятная, жалилась, точно борщевик, девочка зашипела от боли. Подобным образом шипят особы на лирического героя Владимира Высоцкого, не допустившего произвола, не выстрелившего в невинного солдата вопреки приказу. Вешаться понапрасну дело неблагоприятное, Юлия выбирается из кустов, чеховит по женской привычке коммунальщиков, сетует на испорченную голубую юбку-годе. Впрочем, к чему ругаться, в Припяти нынче какие же коммунальщики: пенсионеры да стройотряды, присланные из области на практику. Когда в город решили заселять семьи по экспериментальной программе, пригодных для восстановления жилищ было раз, два, апчхи, будьте здоровы. Отобрали всего-то сто пятьдесят семей, инструктаж провели. Где ходить с осторожностью, где с осторожностью набирать воду, таблетки для обеззараживания выдали, дозиметры эти, даже переносные водочистительные установки ПВУ-300 установили. Службы контроля, переносные лаборатории на каждом шагу расставили. Но это в самом городе, в квартирах, где уровень загрязнения невелик, в Москве или в Питере, как выяснилось, ситуация много страшней, в столицах вообще, Воланды сидят под каждым кустом. На сегодняшний день заповедник тут, животные редкие вернулись. Волки, рыси, речные бобры, косули. А сколько птиц краснокнижных, более девяноста процентов, что вы. Край у нас замечательный, поверьте на слово, мы потомки советских людей, честнейших людей, мы потомки советских людей, Никит Хрущевых, Константинов Черненко, Андроповых Юриев Владимировичей. К чести сказать, мы с папой, Фридрихом Юлиановичем, три месяца назад, когда только стали участвовать в этой программе доступного жилья, с радостью заметили, что мой хронический бронхит излечился сам собой. Представьте, ни одна касторка, ни одна микстура, никакие пивяки не помогли, а в Припяти как рукой сняло, точнее, гамма-излучением. У отца подагра излечилась, такие дела.

Мать Хомяковой, Елена Ивановна, сначала испытывала некоторые сомнения, где мой дорогой муж, Фридрих Юлианович, мы там будем жить, ребенку надо учиться, а прачечная там вообще имеется, а если мы облучимся и помрем, к чему нам такие нофелеты. Все эти женские беспочвенные переживания навалились, словно грузинский борец Леван Тедиашвили, разом на моего дражайшего папочку. К тому же, где это видано, сто пятьдесят семей, это примерно четыреста пятьдесят граждан, которым надобно где-то работать, как-то проводить свой досуг, не все же по грибы, обвешавшись дозиметрами, будут хаживать. Да сомов пятиметровых рогатиной бить. А ягоды десятью растворами кипятка проваривать, а потом сомневаться еще, помрем, не помрем. Такой город солнца Кампанеллы получается, ей-богу. И вдруг руководство восстановило один гастроном, потом другой восстановило гастроном, бассейн открыли, кинотеатр этот. Составили интерактивную карту горячих участков, провели маршруты безопасные до библиотеки, от библиотеки до жилых помещений. Всего желающих заселиться сначала было много, примерно семей пятьсот, сомневались, конечно, дескать, период полураспада урана сотни лет, как бы самим там не распасться, зато доступное жилье, в общем, не все так однозначно. А потом как глянули: ребятя газированную воду с плутоном литрами пьют, да на высоченную конструкцию Дуга, прозванную в народе Дятел, в одних купальниках как мармозетки карабкаются, словом, проводят время интересно. И сказали многие мамочки, не надо нам такого счастья, опасно все это. И не поехали, зато вот, сто пятьдесят семей решились.

– Так, значит, как, понятненько, очень даже понятненько, дорогая моя Аврора, – насупился представительный Спартак, морща свои сизые совиные брови, – давай попробуем, что ли. Мужчина некоторое время трудился гробовщиком, он был воспитан на произведениях Эдгара По, Алексея Толстого, а Томас Лигготи приводил его в неопикуемый восторг, стоит ли говорить, «Киевские ведьмы» Ореста Сомова являлись для него настольной книгой, про Льва Васильевича лучше и не упоминать. Поэтому человеком он был незаурядным, охочим до приключений, к тому же накладывал бальзамический грим виртуозно, в свободное время занимался таксидермией, особо впечатлительные барышни, заказывавшие у него чучело своей собачки или хомячка, выслушивали целую лекцию по бальзамированию, соответственно, брякались в обморок только так. Любимой присказкой гражданина была: и даже луна исследована нынче лучше, чем Россия,

подумайте об этом, други мои. Зачем же мы совершили столь резкий, как будто ничем необоснованный переход к семье Спартака и Авроры. Должно быть, мы бежим впереди паровоза. И вводим новых персонажей, боясь не успеть.

И легкий снежок повалил, ютился у ног, и валенки стремительно намокли, стоило оступиться в лужу, не успевшую как следует схватиться льдом. Безжизненные девятиэтажки тянулись по левую сторону. Семья Рыбкиных проживала в доме тридцать восемь по улице Курчатова, недалеко от въезда в город и центральной площади. Им крупно повезло, квартира в пятиэтажном доме, да еще и со вторым ярусом. Ремонт сделали за счет государства, провели оптоволоконный кабель, канализацию организовали опять же. Девчонка сняла свои лыжи. Хлюпая валенками, она подошла к палисаднику. В палисаднике росли красные маки на толстых мясистых стеблях, каждый с человеческую голову величиной. Но трогать их было совершенно нельзя, дураку очевидно, очевидно даже человеку с тяжелой формой олигофрении, нельзя и все тут. Однажды китайский турист полез к ним, кажется, даже дотронуться не успел, а бутон взял да раскрылся, и в лицо Се Бинь прилетела вязкая, молочная масса, хорошо, что медики дежурили в экскурсионной группе. Цветок плюнул в несчастного пищеварительным соком, кожа с головы слезла лоскутами, обнажив белесый череп, губы, щеки стали лохмотьями, вот так, поднять на ровном месте проблему получилось у китайского туриста, считающего себя самым умным. Или, как говорила соседская бабушка знахарка: вумным. Бабушка знахарка много чего говорила, а когда у Юльки был энурез, на ночь кусочек сахара под подушку положила, постыдный недуг и прошел. А Ваньку кривого с помощью куриного яйца нормальным сделала, два дня белым яичком по голове тому катала, катала, пока оно не почернело, яйцо в смысле. Завидным женихом стал, правда, заикаться начал.

Но у нас тут кто шестипалый, кто психически нестабилен. Подробности о каждом встречном-поперечном не ведаю, мы частенько вечерами с моей бабулей соленья разные в банки закатываем. И в окно стараемся даже не смотреть на ночь, занавесим шторками, закатываем себе, никого не трогаем. А иногда слышим крики, полные горечи, что разносятся по округе краткие мгновенья, но и они обычно стихают быстро, словно мертвые писатели, которых задавали читать на летние каникулы. Понимаете ли, одно дело знакомиться с трудами живого автора, с которым и поспорить можно, возразить, вполне вероятно, он ошибся в своем опусе. Другое дело работать с мертвым текстом, с домыслами учительницы. А учительницы нынче такие, эманипированные.

Обойдя пятиэтажный тридцать восьмой дом, я повстречался с ребятишками лет десяти. Спортивные костюмы, лица шербатые, чумазые, смеются чему-то, ножичками щелкают. Они с воодушевлением обстукивали две трехлитровые банки, что стояли на зеленой растрескавшейся скамейке. В кустах ужовника блестел портсигар. Но прикасаться к нему было совершенно не можно, вы это и без меня понимаете. Знаю, как ученик из параллельного класса нашел цельнолитую машинку «Москвич» в масштабе один к сорока трем, прекрасная вещица, между прочим. Не помню, то ли в старом детском садике «Чебурашка» в пятом микрорайоне, то ли еще где-то нашел. И положил это сокровище в карман своих шортиков. Спустя день у него вся нога покрылась буро-синими пятнами, трагедия неопиcуемая, врачи разводят руками, даже ногами разводят для пушного эффекта, как спастись ножку, футболистом уже не станешь. А дети хотели в те времена быть либо футболистами, либо Гагарина, закрытого в психиатрической клинике, вызволять. То есть желали наши мальчишки быть шпионами, внедряться и разведывать. С тех пор нам родители и запретили поднимать незнакомые предметы, ведь техника безопасности написана кровью, а кровь это плазма и клетки, кровь, чтобы вы понимали, наши автографы в книге жизни. Передовица запястий мальчишек в ожогах крапивы, тростниковых порезах, они обстукивают свои банки. Передовица рук мальчиков, ужаленных крапивой, в порезах меч-травы, в девчачьих укусах читалась мною с легкостью. Ребята эти проживали в интернате, на выходные их забирали к себе сердобольные граждане, чтобы детишки смогли в дальнейшем адаптироваться к стремительно переменчивому социуму. Я подошла к ним, с большим интересом взглянула, на меня не обратили ни малейшего внимания. Ребята из интерната наловили целую армию духов.

Это у нас такая традиция была, мы садили их в банки, что тырили у зазевавшихся бабулек, которые потом не могли раззеваться обратно, так и бродили с перекошенными ртами, как паралитики, на чердаки заглядывали, на антресолях копошились, вопрошая, а где же вы, баночки мои, баночки. Духи у нас в этих закупоренных банках фью-фью-фью делали, светились, как фиолетовые светлячки, доставляя неопишемое удовольствие ребятам, лишенной уроков высшей математики и двойных интегралов в полярных координатах, лишенной познаний о несобственных интегралах, дифференциальных уравнениях. Словом, дети мы были свободные от интереснейших математических вещей, правда, мало кому пригождаются эти вещи в жизни, вот духи в банках были да, они сродни настоящему волшебству. По временам эти бесплодные существа, эти невольники нашептывали малышне сказки на ночь. И о невообразимом гражданине Гулливере, что попал еще в нежном возрасте в чан с ядреными отходами, а потом его завербовали наши органы госбезопасности и стал он дядей Степой, а никаким не Гулливером вовсе. Стяжать духов длительное время считалось моветоном, ибо дети у нас были жалостливые. Можно сказать, коллективное воспитание, обрушившееся, как кислотные дожди, на наши головы, во многом восходило ко временам позднего советского союза. Свежи были в памяти Кашпировский, Джуна, наши папы, мамы, воспитатели были умнейшими людьми, доцентами они были. И трепетно внимали экранам телевизоров, крепко держа в руках двухлитровые банки с водой. Иными словами, верили в чудо, были скромны, трудолюбивы, просты в общении, уважали стариков и старушек, уважали братьев наших меньших. И детям своим по мере сил прививали данные принципы.

Невысокая раскидистая яблоня, отчего-то лиловая, что росла у самого подъезда с выбитой входной дверью, ее темно-зеленые листики колыхались на ветру. А на самой вершине, почти касаясь подъездного козырька, росло небывалое голубое яблоко, электрические червячки, оберегая фрукт от повреждений, по временам искрились, слышался шум дросселя, вспышки как от шаровой молнии завораживали. Матушки настрого запрещали нам вступать в отношения с такими яблоками, наше поколение заставляли читать сто советов по электротехнике за авторством Гурина. А что поделаешь, диэлектрические перчатки могла позволить себе не каждая семья, чего уж тут говорить об индуцировании заряда. О, сколько мужей лишилось здоровья, между прочим, мужей, изучивших как следует эквипотенциальные поверхности, теорему Остроградского-Гаусса, да что и говорить, находились индивидуумы, что по синей лавочке карабкались за яблочками Гесперид, желая впечатлить подружек. Такие они, электрические фрукты. Ева-парикмахерша с роскошными волосами до самого пола, на позапрошлой неделе это случилось. Мужа своего, повара пятого разряда Адама все подстрекала, подстрекала. – Адам, у меня пятый месяц беременности, а тут паршивое яблочко пожалел для меня. Нету теперь повара пятого разряда Адама, угольки сплошные. Встретишь, бывало, у подъезда сограждан, они пиво попивают, о своем щебечут, потом спорить начинают, а я сейчас яблоко собою. Да не собьешь. А вот, говорю, собою. Валера, не начинай, вспомни, как Григорий себе всю руку обжег, теперь она у него черная, как у Жанна Бокасса, и не сгибается. Не стала я терять время на рыцарские разговоры, что звучали в моей голове, к дому Рыбкина по проспекту Ленина пошла. Легко и радостно играла в сердце кровь, рискуя превратить в морковь любовь. Снежок почти растаял, березовым соком пахнет, ольхой, черемухой, сиренью, соляжкой, январь какой-то весенний получается.

Мимо зеленовато-голубого болотца, разлитого по стадиону «Авангард». Бабушка с невообразимо большой бородавкой-класоном, в темно-фиолетовом пальто ведет страшного белого аргентинского дога, тот фыркает, обнюхивает сетку стадиона. А на стадионе удивительные, будто перемазавшиеся в бензине, квакши, перелетают с кочки на кочку, то ли квакая, то ли порыкивая. Черно-белые футбольные ворота, трухлявые трибуны, у синей каморки тренера стоит штанга, красные блины поросли мхом. К весне заняться стадионом основательно обещали в администрации города, и постелить искусственный газон обещали, надеюсь, не обманут. Обманывают сейчас дурно, привезли нам знакомые из ГДР колготки, сносу им не было. Говорят, вы хоть на них вешайтесь, не порвутся. И через козла на физкультуре скакала в них, мальчишки жаловались, нижнего белья им не видно, дураки какие, и варенье брусничное на них пролила однажды. А кошка коготком

своим подцепила, и нету больше колготок. Чтобы зашить, нитки какие-то специальные нужны. Меж тем янтарная посреди беговой дорожки лужа бурлила, лопались пузырьки, шипело чего-то. Оскалившийся, выбеленный ненастьем череп собаки незрячей глазницей глядел в темно-розовое небо. Сто пятьдесят детей, что проживало в Припяти, ходили на занятия в дом культуры Энергетик, так оно надежней. Решили организовать всех детишек в одном месте. Администрация посчитала, что восстанавливать школу на улице Дружбы, техникум на улице Энтузиастов, музыкальную школу на улице Курчатова совершенно нерентабельно и опасно, за всеми не уследишь, если разбредутся. Построенный в начале семидесятых монументальный ДК «Энергетик», где располагались клубы по интересам, там же время от времени выступали приезжие и местные коллективы, устраивались капустники. А теперь в нем грызли радиёв науки первые школьники-переселенцы, участники так называемого эксперимента. Впрочем, позвольте, участники эксперимента, какие же это участники, это будущие отцы, будущие матери гагариных, курчатовых и капиц; вот кто они такие есть. Мы же в свою очередь лишний раз не гордились, чувствовали себя обыкновенными подростками, просто живущими в секретном городе.

Январь выдался слякотным. И лютый мороз со двора ушел раньше положенного срока, и вечер недолг стал. И люди сбросили шубы, тулупы, гуляли в пальтишках, помахивая кожаными дипломатами. Были мягко устланы песком и реагентом дорожки. От близости зараженной реки доносилась такое голубоватое сияние, что невольно я залюбовалась. Воздух был тих, свеж и прозрачен, редкие щелчки личных дозиметров нарушали тишину. Троллейбус мчал, в последнюю дверь едва-едва успел запрыгнуть парень в леопардовой шапке-сфере, в цигейковой черной шубке. Я подумала: еще, может, на троллейбусе три остановки доехать, или сэкономить да пешком доковылять. Это замечательно, конечно, что у нас в городе троллейбусы появились, подумалось мне. К моей желтой шубке пристала крымская жужелица, черно-синий жук, любитель виноградных улиток. Совсем рядом с автобусной станцией стояла выкрашенная лимонной краской телефонная будка. Внезапно аппарат зазвенел. Треньканье смолкло, мимо проходил гражданин в темно-каштановой шапке, в высоких болотных сапогах, на плече у незнакомца висела сумка-короб, за спиной серебристый спиннинг. Звонок повторился.

Рядом находился автовокзал. Сквозь стекло я видела, как по залу прохаживались люди с баулами, рюкзаками, болтали себе, шкалики уничтожали, закусывая кругляшками колбасного сыра, читали газеты вверх ногами. Ответить, думаю, чего же не ответить, отвечу, пожалуй. – Юлия говорит, ученица шестого класса дома культуры «Энергетик», – зачем-то представилась по форме. Молчат в трубке, повторяю: Юлия Хомякова, вам кого? Недолгая пауза. – А Людмилу Васильевну позовите к телефону, сделайте милость, – голос на том конце запыхавшийся, как будто тетенька бежала зачем-то, или от кого-то бежала. – А где она живет, я сейчас позову взрослого, он вам обязательно подскажет, – лопотала девочка. Однако трубка примолкла, потом внезапно последовали короткие гудки. Какая вообще автобусная станция Припять, думает обескураженно Хомякова, я же только была совсем не здесь, улица Курчатова где, а где автовокзал, интересенькое кино. И такие пространственные неожиданные перемещения с ней постоянно случаются, мама опять будет ругать. Что же это, у меня снова провалы в памяти начинаются, Владлен Геннадьевич одну гомеопатию выписывает, а надо что-то посерьезней, думает, веселясь, Хомякова.

И только начала девочка размышлять подобным образом, как ей на плечо легла тяжелая рука в желтой кожаной перчатке, а рот плотно зажали носовым платком. Ребенок для приличия задержался, пытаясь вырваться, однако силы были неравны. Сладковатый эфирный запах приятно заполнил дыхательные пути, школьница дрыгалась выловленной щукой на льду, но могучие руки держали ее надежно. Наконец Хомякова обмякла, негодяй взвалил девичье тело на плечо. И уверенно направился в сторону припаркованного у голубого газетного киоска бордового «Москвича-412». Гудели электрические кабели, похититель нес ребенка по безлюдной Спортивной. Зачем он это делал, мы ни сном ни духом, ни даже полуухом. О, до чего же был прав Матфей: имеющий уши да услышит, главное, чтоб никакого пирсинга, имеющий глаза да увидит, главное, проверяться у офтальмолога раз в год, имеющий разум да осознает, впрочем, тут уж никто не застрахован.

К сожалению, ничем подобным похвастаться мы были не в силах, знания у нас рядовые. У автовокзала выстроилась колонна черных иномарок. – Тьфу, цыгане, – высказалась некультурно женщина, носившая постоянно с собою топор с красной рукоятью, что некогда принадлежал ее пропавшему сыну-пожарнику.

### **Вторая глава, она о Коле Рыбкине и Рождественской ночи**

Сегодня умерла наша кошка, или, быть может, вчера, не столь важны временные подробности, обстоятельства, слезы. И важно ли нам сообщить, был жаркий полдень января, ведь мы февраль тогда за скобки уберем. А что же делать с декабрем. Задумавшись всерьез, слетишь с катушек, не в силах обозначить месяц и о каком числе тут говоришь. Когда неделя, например, в такой же мере водомерка, что скачет между букв, написанных прозрачной краской, чью повесть прочитать необычайно сложно. Не обладая букварем, копировать чужой язык, придумывать свои наречия. Быть может, жестом изъясниться, кривить лицо, да прикрывать глаза, жестикулировать руками понапрасну. Меняй свое число и поклонение и время тоже поменяй, а вид, склонение оставь, не изменяя. Чтоб вспомнили родные, опознали. По родинке, по сколу на зубах, как много совпадений, как много ранок на запястьях, молочных ранок на запястьях, случайных и не очень. И все-таки хранить кусочки шерсти в коробочке на память буду я о нашей кошке.

Интеллигентнейшая кошка с голубой шерсткой Саманта Смит, справлявшая нужду, восседая орлицей Сиуакоатль исключительно на унитазе, больше не с нами. Ворчала недовольно, шипела, когда смотрины на ее делишки устраивали, совестилась. Единение, в котором она нуждалась, наша маленькая Саманта, теперь ты его получила сполна. Ныне ни один остолоп не помешает справиться тебе нужду, наша малышка. Да, великая, словно поэтесса Хеджинян, кошка Саманта, теперича ты на радуге. Главная задача, как считал Николай Рыбкин, подросток двенадцати лет отроду, не склонный к пониманию точных наук школьного курса, ребенок, путающий порочный герменевтический круг, символы, атомно-молекулярное учение, полимеры, смотрел отсюда туда, на радугу, да вспоминал неотразимую кошечку Саманту. На балконе сделалось зябко, ребенок зашел в дом. О, сколько символов повсюду, и луч полуденный проник, и в комнате моей он гладит корешки чудесных книг. А все никак, никак, никак не отступает моя тоска. Душа, стесняясь лирического волнения, не знает, что ей предпринять. Да, наша кошка умерла, как германская республика. У нее подскочило давление, когда она делала свои дела на унитазе, разбилась, как космонавт Владимир Серегин. Сколько же лет исполнилось нашей красавице, полагаю, третий десяток, мама завела ее до моего рождения. И чем очиститься от скверны, чем заполнить пустоту, рыбками, черепашкой, пожалуй, никем не заполнишь, ибо понятно дорогим читателям, что смерть кошки это надолго, почти навсегда. Никакая черепашка или кролик не в силах заменить нашу Саманту Смит! В этой связи вспоминаются слова друга моей матери: я забываю мир, и в сладкой тишине усыновляю воображение. Только это и остается мне, Коле Рыбкину, жить в невообразимых фантазиях.

В моей комнате на столе лежит острый, словно вопрос детской токсикомании, скальпель, хирургические нитки, иголка для шитья, мерзлая тушка Саманты, извлеченная из морозильной камеры, гипсовая заливка, баклажка со спиртом, ненужные тряпки. Осталось немного, подготовить емкость, аккуратно удалить кожу, заняться дублением своей крошки. Руки перестали трястись, а те граждане, утверждающие, что для лучшего успокоения нервов достаточно чашечки чая, не имели дело с уколом адреналина в самое сердце. Вспомнилась также Рыбкину подзабытая цитата об этом адреналине.

В комнату без приглашения входит Аврора Евгеньевна, женщина хороша собой, на щеке длинноскулого лица премиленькая родинка, напоминающую очертанием слоника. С черного плаката над кроватью Коленки на них всех глядит с некоторым укором Джек Лондон в кожаной куртке. Светло-вишневые губы матери крепко сжаты, вся такая недоступная, взгляд кроток, брови кустисты, светло-рыжие волосы забраны в пучок. – Сыночка, я рассчитываю на то, что ты по-



радуешь наших гостей собственным присутствием, – говорит она бархатным голосом, – все-таки рождественские посиделки. – От порыва ветра, доносящегося из приоткрытой форточки, ее фиалковое легкое платье обнажает стройные бледные ноги. В комнату заходит отец. Коля смущенно отводит глаза. Голосом чугунно-глухим Николай обращается к родственнице: дорогие родители, мне претит ваше присутствие, я намерен подняться в свои апартаменты и провести ближайшее время со своей мертвой кошечкой наедине, я намерен заняться мумификацией. – Боже ты мой, начинается, мало тебе Анатолия Москвина, это больной человек, это неправильно, – барышня разволновалась, доводы сына неясны. – Ты, конечно, не Эзра Паунд, но язык у тебя подвешен как надо, – с пиететом говорит Спартак, приобнимая жену за талию. – Милая, Анатолий Москвин человек больной, но мы не в праве запрещать нашему сообразительному, а порой гениальному отпрыску, или же выбирать за него, чем ему заниматься в жизни, – рассудил Спартак, мужчина пятидесяти лет с пышными белесыми усами, круглой, как бильярдный шар, лысой головой, в коричневом пиджаке, из-под которого выглядывала белая футболка с черным квадратом на груди, в центре квадрата был квадрат поменьше, белый квадрат. Меж тем прихожую наполняют гости, слышится нелепый смех, глухо падает чье-то пальто, возбужденно дамочка подстрекает присутствующих на эксперименты: у меня муж объелся душ, сделал чудную настойку на пантерных мухоморах, вы просто обязаны попробовать чудную настойку на пантерных мухоморах, это совершенно невероятно! – А тапочки, подайте кто-нибудь тапочки, боюсь, на мои лапки не найдется нужного размера! – пищит агнец биотехнологии, или же лаборантка Белочка, субтильная такая, стеснительная барышня.

– Квартирка вам досталась очаровательная, вот так свежело, вы же помните, что мы приехали из частного дома, жили вот в Минске, сколько куриных яиц не довелось продать, когда эпидемия гриппа началась, а сколько мебели потеряли при переезде, а коровы, а козочки, правда, они, скотины такие, за последний год попередохли все, сибирская язва, говорят, а тут от государства, значит, эксперимент, пропитание, живите, ни в чем себе не отказывайте, только правила соблюдайте! – тараторила одуловатая тетя Надя, работница единственного мясокомбината в пригороде. Она со своей химической завивкой, в нелепых леопардовых лосинах расхаживала по залу, ее джинсовое платье, словно парус одинокой, продувался ветрами, белые кроссовки мягко ступали по искусственной шкуре бурого медведя. В комнату вошел гражданин с благообразной седой бородой, в сером свитере крупной вязи, Дмитрий Кузьмин, внук той самой переводчицы Элеоноры Яковлевны Гальпериной, подарившей нам «Убить пересмешника», «Маленького принца», «Постороннего» Камю. На шею Дмитрия Кузьмина пульсировали две толстые венки, словно два каната они пульсировали, он принес металлическое блюдо, с золотистой курицы стекал жир. – Вот мы бы проживали в двухъярусной квартире напротив трех однотипных девятиэтажек-вертушек по улице Леси Украинки, это ж сколько возможностей, фотолаборатория на дому, поэтическая мастерская, да, свежело некоторым, – сетовал Кузьмин, ставя блюдо на общий стол, потеснив седьмидесятилетку под шубой. – Но ведь нам посчастливилось стать участниками доступного жилья, помимо нас еще сто пятьдесят семей пытались откусить ломтик этого яблочного коммунального счастья, – оправдывался отец семейства Спартак Семенович, поглаживая указательным пальцем край стола. Внезапно хозяин квартиры залпом выпил стакан клюквенной настойки, продолжил, как бы обращаясь ко всем сразу: правда, никто не уточнил, что проживать придется в городе атомщиков, пусть частично и подвергшемуся дезинфекции, но все-таки какова опасность, а генофонд, а еще неизвестна этимология опухолей, проказа, опять же, они ведь не дремлют, скрытые организмы, товарищи родненькие!

Гражданин в гостинной стало чрезмерно много. Кто-то включил музыкальный центр. День мчался как скорый поезд, пассажиры пили до дна, в лунном свете краски стали нежней и прекрасней, фиолетовая лунария в горшке на окне, Спартак не удержался, оторвал листок, закусил! – Светит, светит, а все-таки вот какое дело, память удивительным образом вытесняет все хорошее, завтра мы уже будем глубокими стариками, а смысл в чем, – не к месту начал столь шепетильный разговорчик бледный гражданин в черной рубашке с красной повязкой, наливая себе в бокал вермут.

Он осушил залпом стакан, занюхав луковицей с хозяйского стола, продолжил как бы спорить с чем-то: пока нас закрывают в учреждениях, а за что, спрашивается, за то, что не те стихи пишем, не так поем, где логика, господа, я у вас хочу поинтересоваться, а поинтересоваться не в силах, рот заклеили шпаклевкой. «Луна, луна, цветы, цветы, цветы, нам часто не хватает в жизни друзей и доброты», – отвечала ему Ротару из музыкального центра. Только отвечала как-то уж невпопад: а дело не в погоде, но меня на грусть наводит, что не происходит в жизни ничего. Парочки несмело топтались в танце и были подобны кататоникам, одни танцующие дети напоминали носорогов своей, знаете, непосредственностью, что ли. На черноволосого, бледного философа никто не обращал особого внимания. Наконец, нашлась дама сорока лет, рыжая участница литературного объединения молодых поэтов, завсегдатай психиатрических учреждений, дама в высшей степени интеллектуальная. – А я считаю, что сказка это обобщающий опыт нашей жизни, вот посадил дед с бабкой репку, тянут, потянут, посадили Синявского, Даниэля, тянут, потянут – и вытянут только тогда, когда у власти будет совестливый лидер! – на ней был зеленый клетчатый сарафан, барышня шутливо приобняла Губанова, хотя это мог быть вовсе и не Леонид Губанов, просто так сложились обстоятельства. Рыжая девушка Юлия Вишневская закурила прямо на кухне, не открывая форточку, дефицитную сигарету Marlboro. И произнесла: мне видится, дорогие мои соотечественники, что в городе Припяти, где по волею случая мы с вами оказались, цензурные органы не больше театральных актеров, делай что хочешь с ними, думай о чем вздумается, люди они подневольные. Без паспорта тут гуляла ночью, даже не спросили. Девушка с наслаждением затянулась, пустила струйку дыма носом. Продолжила: а вот была такая акция недавно, называлась «Появление», зрителям, значит, разослали приглашения, приглашенные собрались на поле, а через пять минут к ним, значит, подошли два участника акции и вручили справки, то есть документальные подтверждения, удостоверяющие их присутствие на акции «Появлении», каково, до чего просто, до чего изящно? Было несколько странно наблюдать за Юлией Вишневской, которая курила на кухне дефицитную сигарету Marlboro в одиночестве и себе же о чем-то рассказывала.

Спартак Семенович, переодевшись в плюшевый костюм настоящего медведя, порывивая, приплясывал в гостиной. В серванте находились: посуда, миски, расписанные под хохлому, высокий хрустальный кувшин, две семейные фотографии, банка канифоли, резная дудка из красного дерева. На серванте стояли: игрушка-мотогонщик, шагомер «Заря», железная коробка грузинского чая. От диких плясок Спартака-медведя предметы в серванте и на серванте тряслись, звенели. На подоконнике расположилась причудливая голубая елочка, метра полтора высотой, на ней росли два голубых гавайских банана. Чернобыльские селекционеры являлись Дмитрием Ивановичем Менделеевым, или даже Ньютоном от мира постсюрреалистического коммунизма. О, сколько открытий чудных готовит нам зона повышенной опасности, – в шутку написал местный корреспондент в бедственной, оттого и не финансируемой должным образом газетной колонке, а написал Токарев. – А я помню, помню акцию «палатка», наверняка вы знаете, художник Алексеев сшил палатку из собственных картин, это было на Савеловской железнодорожной станции, глупость, конечно, но как мы радовались, как дети радовались, пели, орали, водку пили, я вот в этом костюме медведя обычно участвовал в акциях, – Спартак ностальгически всплакнул. Мужчины и женщины разного возраста и социального статуса сидели в голубых, оранжевых чехословацких креслах, кто-то сидел на полу, выпивали полусухое вино, грустили. На обоях в гостиной были изображены лесные массивы, сугробы, деревья. Красная тряпка, натянутая вдоль стены: я ни на что не жалуясь, мне все нравится несмотря на то, что я здесь никогда не жил и не знаю ничего об этих местах. Кассету зажевало, Аврора, щелкнув тумблером, призвала гостей к столу. – Сынок, а расскажи, как ты ядерный реактор в гараже собрал, нас, правда, потом по инстанциям затаскали, зато грамоту вручили и медальку, а также пообещали поступление в физико-математический институт без экзаменов, не стесняйся! – пошатываясь, произнес папа Спартак. – Ну, отец, что за детский сад, было и было, я вообще, считаю ваши акционерские шалости сплошной профанацией, делом надо заниматься, да хоть б карьеру построить, чего вы все добиваетесь, я понять не

могу? – патетично воскликнул мальчик. Гости снисходительно посматривали на Николая. – Вот и конфликт поколений, дети врагов народа стали просто детьми, – грустно произнес отец.

Ретироваться Рыбкину не удалось, на втором этаже, в собственном убежище, где можно расщеплять молекулы, попивая чай с мятой, читать о густых металлургических лесах, об изменении конструкции кронштейна да постигать перипетии жизни великого лирика-физика Александра Еременко; никак не удалось туда попасть. Гости были слишком настырны, не выпускали из комнаты. Отчего-то Коленька нырнул под стол, сделавшись соглядатаем гостевых ног. – Дорогие мои, что же такое происходит с тампонами, простите мой корейский, ладно, прокладки, но тампоны, аптека одна на весь город, а тампонов ни одного, – жалостливо рассказывала моложавая тетенька, ее зеленая, шерстяная юбка натянулась между колен и была похожа на флаг Ливии во времена правления Муаммара Каддафи. Матушка Аврора Евгеньевна возражала: хорошая моя, не все сразу, понимаете, пока наладят инфраструктуру, пока эти тампоны несчастные завезут, вспомните Великую отечественную, вата, бинты, ужас просто, но как-то выстояли! Звенело стекло, кому-то подкладывали жаркое: хватит, хватит, вы меня решили совсем закормить, я перестану помещаться в свой китель! – жаловался акционер по имени Роман Осминкин. – Ничего, хорошего человека должно быть много, нет такой шинели, не вмещающей Романа Осминкина, на каждого Акакия Акакиевича своя шинель и Осминкин! – хором кричали гости.

Внезапно со стола упала ложка, краткое мгновение спустя упала вторая ложка, словно подпиленные деревья в химкинском лесу в конце нулевых они падали, падали, падали. – Ну, это к гостям, женщину ждем, – поделился соображениями изрядно выпивший незнакомый мужик в синей шапке-пелмене. Николай Рыбкин, сидя под столом, разглядывал ноги, высокие серые валенки, в таких мог ходить Солженицын, черные резиновые шлепки легко было представить на ногах писательницы Марины Клещевой, войлочные тапки с красными звездами подошли бы Устиновой, японские деревянные сандалии Гэта прелестно смотрелись бы на вождельных ножках Саяки Мураты, не знаю, можно ли склонять японские имена, Саяка Мурата. Интересно, думал Коля, это дань моде такая, припереться в гости в особенных тапочках, чтобы отпраздновать рождество. Он успел уже выпить чекушку, что заботливо передал отец, закусив краюшкой черного хлеба, натертого чесноком. Поэтому мальчик вслушивался в разговоры с нескрываемым интересом, казавшиеся совершенно беспорядочными, хаотичными, словно проза Дона Делилло, разговоры были по меньшей мере комичны. – До чего оскотинились, представьте себе, на могильнике в районе Россохи нашли партию коровьих туш, и что бы вы думали, на всех тушах отсутствовали филейные части, куда потом это везли, кому продавали, это же яд в чистом виде, как себя не уважать надо, чтобы продавать зараженное мясо, – расплылся гражданин в каштановых брюках в белую полоску, его ноги в лакированных коричневых туфлях никак не могли остановиться, он ими двигал, то закинет правую ногу на левую, то левую на правую. Руки отца протянули стакан, наполовину апельсиновый сок, наполовину самогонка, Коленька принял подношение, выпил, не поморщившись. Главное, чтобы мать не увидела, Аврора алкоголизм сына порицала. Мальчик вновь скрылся под столом. – А что это он, пусть с молодых ногтей занимается серьезным делом, испытывает и ремонтирует, например, средства защиты электроустановок у нас в стоматологическом кабинете, у вас, Коля, вы не подумайте, что я хвалю понапрасну, все же видно, заметен талант! – говорил зубной протезист в засаленных джинсах и стоптаных синих кроссовках. Своими маленькими перламутровыми зубками он объедал мясо с куриного крылышка.

Наконец Николай Рыбкин решает покинуть подполье, выйти к людям, пока силы не оставили его окончательно, выпитое дает о себе знать, мальчишку пошатывает. Пока сибирская язва мизантропии не скосила молодой организм. Пока на одном половом закипании не сварить щей. К тому же двойится в глазах, путаются, как сваренные аль денте макаронины, ноги. Надо идти к себе, отлеживаться бурым, понимаешь, мишкой, не ведающим ни о каком Кристофере Робине, знающим лишь нашего, родного Евгения Леонова. – Времена стояли депрессивные, граждане лишились работы, были раздражительны, суицидальные мысли не покидали домохозяек, да что я

вам рассказываю, будто вы не знаете о голоде в Поволжье, – заплетающимся языком дискутировала незнакомая девица. – Сыночка, давай-ка на боковую, тебя проводить? – спросил заботливый Спартак, не снимая свой нелепый медвежий костюм. Лаборантка Белочка, смуглая, застенчивая дева с короткими льняными волосами, свекольно-красной шеей, худощавыми руками, приобняла за талию Колю. – Сейчас, сейчас, тут недалеко, – сказала она нежно, прижавшись горячей щекой ко лбу мальчика. Парочка с трудом поднималась по узкой лестнице, каждая ступенька этого дома скрипела, словно скрипач на картине Марка Шагала. – Ох, дорогой, ты и представить себе не можешь, как тебе пригодятся однажды схемы обмоток машин переменного тока, попомнишь еще мое слово, сынок, – раздался неприятный гундосый голос у основания лестницы, Коля даже не взглянул, кто это там говорит неприятно, визгливо. Однорукий фронтовик в тельняшке смоллил едкую беломорину на середине лестницы. Сфокусироваться на герое не было никаких сил, поэтому Рыбкин крикнул ему по-свойски: уйди, отец! Парочка добралась до комнаты, Белочка внезапно скинула свое лавандовое платье, несмело коснулась белыми губами груди Николая, словно новорожденная присосалась к мужской груди. Засмущавшись, мальчик отступил от барышни, чтобы в следующее мгновение припасть к малым, словно роман Владимира Блинова, состоящий из двух предложений, словно стихотворение Валерия Брюсова: о закрой свои бледные ноги; припасть губами, припасть к ее малым и острым, напоминающим египетские пирамиды, грудям. Скрипучий диван, горячие, словно беляши на вокзале, поцелуй, нежные поглаживания младых телес. За узким окном падали хлопья снега, развалины четвертого энергетического блока, словно мираж, едва-едва виднелись вдаль. Снегоочистительная машина скребла ковшом землю. Бенгальские огни бурлили у самого подъезда. – Валера, ты попал мне в глаз, теперь у меня нет глаза из-за твоего бенгальского огня! – плакался дамочка. – Все у тебя есть, он всегда таким был, миниатюрным, вон, есть! – успокаивал неизвестный кавалер.

– Это ничего, соседи, есть у нас на рынке одна, так обвешивает безбожно, крольчатиной торгует, ну, чисто Софья Блювштейн! – захмелевшая девушка по неизвестной причине вспомнила господ аферистов, не забыла даже Николая Савина и Вениамина Вайсмана, что обманул двадцать семь министров. Ей возразил, шепелявя, обольстительный гражданин, похожий на литературоведа Олега Лекманова: шлушайте, шама шебя не прокормишь, никто не прокормит! – Точно, как сбивать палкой воробьев, тут совесть не нужна, кто первый ухватил палку, того и стулья! – Аврора подшофе танцевала в гордом одиночестве, двигая бедрами, босиком прямо на столе, музыка была про тополиный пух и жару. Обстановка располагала к неукротимым свершениям. Серый кирпич дозиметра «Припять РКС-20.03» на подоконнике показывал шестьдесят микрорентген в час, показатели могли испугать разве что полного кретина. На обеденном столе почти ничего не осталось съестного. Гости нехотя расходились, кто-то курил на балконе, доносились полупьяные разговорчики: знаете, когда Мария Кюри получила нобелевскую премию за открытие полония и радия, она прямо-таки светилась от счастья! – Ура, товарищи, с рождеством, пусть и таким весенним, что ли! – внезапно воскликнула Аврора, распахивая балконную дверь настежь. Ей вторили гости: ура, ура, Аврора, ура! В глубоком клетчатом кресле мужчина шестидесяти лет, с щекастым лицом, двойным подбородком, клокочущим голосом рассказывал скучающей блондинке: сейчас у нас все условия для труда и жизни самые замечательные, таких условий раньше не было, вот я занимаюсь гальваническими элементами для электронных часов, у меня оклад в полтора раза выше бригадира, завтра я этого бригадира вот так, под ногти! Где-то на кухне лопнул бокал. – Это полтергейст! – взвизгнула испуганно блондинка. – Это что, у нас на четвертом этаже в пять часов утра кто-то стучит в окно, на четвертом этаже-то, – говорил гражданин в теле с синеватыми губами в голубом костюме тройке, – а у соседей такие постукивания раздаются на девятом этаже, это, полагаю, не упокоенные души шастают, представьте, сколько их тут осталось, страсть просто. Девушка с лицом форели, впрочем, не лишенная обаяния, страшно удивилась: а у меня на кухне дверцы сами собой открываются после полуночи, я их закрываю, они открываются, я их закрываю, они открываются, ничего не понимаю. Блондинка тряхнула головой, из ее ушка вылезла сороконожка, упала на пол, юрко скрылась в плинтусе.

– Друзья, прошу минуточку внимания, свежая пресса подоспела! – чрезвычайно довольный отец семейства Спартак размахивал пожелтевшей газетой, словно она была банкой лососевой икры, такой же великой. Папа любил колонку, которую вел Миша Токарев, единственный литератор их города, которому дозволялось печатать свои опусы на последней полосе, другим авторам не дозволялось печатать вовсе. Единственному грамотному журналисту перевалило за девятый десяток, и он совершенно остыл к профессии. Порой чтение Мишиных стихов на злобу дня вызывало у отца приступы гомерического смеха, порой приходилось вызывать скорую помощь, чтобы успокоить родственника, как бы инсульта не случилось. И теперь, войдя в гостиную, облачившись в голубой пижамный комплект, желтый шарф, очки в роговой оправе сдвинуты на край носа. Он самозабвенно читает, раскрасневшийся, как синьор помидоркин, он читает следующий текст своей любимой газеты сквернейшего качества, текст посвящен женщине, решившей, что она лес. Сигаретка в его губах дымит. Причудливые дымные колечки, словно медузы, плывут по комнате. «Прима» в резном мундштуке в его губах, гости увлеченно слушают, кое-кто даже говорит многозначительно: ну-ну, однако. В какой-то момент не выдерживает дамочка в зеленой накидке, та самая блондинка с прической андеркат, виски выбриты, удлиненная верхняя часть, все как положено: хо-хо-хо, каков пошляк, а мне нравится! Оживляются иные гости: а в этом присутствует доля иронии, не находите? Некий гражданин-интеллектуал, увлекающийся дадаистами, людьми, отказавшимися от логического мышления, людьми, избравшими коллажи и перфомансы в качестве подлинного искусства, басит: у мальчишки-корреспондента чутье, а уж какого у него размера интеллектуальный орган, боюсь даже предположить!

Замуравевшее лоно  
 Подробность для мирмеколога,  
 Капустницы глаз,  
 Порхающие на поляне,  
 Энтомологам интересны.  
 Дамы в разводе,  
 По вероятию, непредсказуемы,  
 Видны изменения  
 В умственной сфере,  
 Буквально после развода,  
 Второго, неважно какого  
 Женщина говорит себе:  
 Теперь я женщина-дерево,  
 Женщина-муравейник,  
 Женщина-дрозд.  
 И вот начинается,  
 Начинается менопауза,  
 Дамы неурочного возраста  
 Собой наполняют наш лес.  
 Орнитологи, натуралисты,  
 Энтомологи, зоозащитники  
 Говорят с придыханием,  
 Мнутя на самой кромке поляны,  
 Дескать, хотим познакомиться,  
 А именно, то есть, конечно,  
 По существу обращения,  
 Не занимая лишнего времени,  
 Потому-то и потому-то  
 Нечем это времечко отдавать,

Не подумайте женщина-  
Скарабей, долгоносик,  
Тетерев, ласточка,  
Что мы хотим поразвлечься,  
Мы искреннее увлечены  
Вашими мшистыми склонами,  
Валежником ваших волос.  
Сегодняшним воскресеньем,  
В районе полудня,  
Когда я вышел проветриться,  
Женщина-пламя,  
Разгоревшееся на поляне,  
Схватила и крепко держала  
Меня, лесника, контролера,  
Менеджера средней руки,  
Фармацевта, стекольщика,  
Водопроводчика,  
Сторожа комбината.  
Тепло, сказал кто-то из них,  
Тепло, подтвердил я,  
И предложил затушить костер  
Сугубо по-пионерски.

Оставшиеся в гостях сограждане пребывали, само собой, навеселе, бытовавшие разговоры о культуре весьма способствовали интимной обстановке в городе-призраке. Кто-то из дальних родственников припомнил комментарии акушерки: вот у вашего Кольки ножки, как пирожки, огромные были, танцевать балет будет, или в троллейбусе ноги всем отдавит. – Вы только представьте, статистически в любое время дня и ночи кто-нибудь обязательно почитывает Мишу Токарева, уму непостижимо, писателишка, прямо сказать, средний, ничего в нем нет ни от Фаулза, ни от Бабеля, а вот берет он чем-то другим, чем-то хармсовским, позвольте такое сравнение, – нахваливал Спартак, как начнет восторгаться, не остановишь, ужас какой-то. Последнее, что услышал Рыбкин перед тем, как удалился окончательно в свою комнату и отдался во власть всесторонне развитого сна. Выходил он за водичкой для Белки. Подросток услышал прелюбопытные строчки Германа Лукомникова, любимца муз и купидона библиотекарь нашей достопочтенной Родины: мы живем под собою не чужа страны, наши речи уже вообще не слышны! Не слышны, Герман, ох, не слышны, подумалось полусонно, а вы попробуйте покричать, может, тогда и услышат. Поднявшись на второй ярус квартиры, Рыбкин с интересом заметил, что в комнату поднялась вслед за ним лаборантка Белочка, поднялась второй раз, казалось, первой близости было достаточно, нет, только казалось. Барышня восемнадцати лет, тонкогубая, с копной рыжих волос. Оказавшись в постели, Коля с трепетом взглянула на круглую, точно яблоко Гала, розовую попку Белочки, ее треугольные, словно носы ориентальных котов, груди были мягки на ощупь. Мадмуазель прижалась к его бедру, и стало как-то хорошо и спокойно. Стало хорошо и спокойно настолько, что подлец Григорий Грбовой перестал волновать вовсе. Слышались гитарные переборы, кто-то спорил: ты не так поешь, ты поешь ла, а надо петь ля! – В таком случае предлагаю нам всем выпить по этому поводу мухоморной настойки, чтобы не бередить понапрасну душеньку нашу, душу! – вскричал хрипучий женский голос. Послышался звук рухнувшего, словно Гагарин в самолете МИГ-15УТИ, тела. – Ну, куда мордой-то в оливье! – запричитала с щенячьей грустью барышня, чей глас, точно родник, струился и звенел. Рождественская ночь была в самом разгаре.

**Приступая к третьей главе, в которой Рыбкин и Бобров становятся коммерсантами, мы потеряли рецепт на рисперидон, чему несказанно расстроились**

Человеческая насмешка над временем, двухлитровая банка с огурцами на стеллаже была родственно хорватской капсуле времени. Закопанной в тысяча восемьсот девяносто восьмом году. В ней хранилось послание архитектора Германа Болле, того самого Германа Болле, что руководил реконструкцией Загребского собора девятнадцатого века. В послании он выразил надежду: когда капсула будет открыта, пусть хорваты станут великой нацией. На наш скромный взгляд, великая нация это хорошо, но хорошо так же участие, а не победа. Коля рассмеялся, ему вспомнились слова, вычитанные в какой-то умной книге Бернарда Шоу: здоровая нация не замечает своей национальности, как здоровый человек позвоночник. Черный витиеватый шнур паяльника напоминал крысиный хвост. Также на стеллаже присутствовал самодельный фотофонарь, он испускал приятный красный свет. Синий одноступенчатый редуктор. Тронутая ржавчиной зеленая динамо-машина. Аккуратные стопки книжек: «Шестиклассники» Юрия Сальникова, «Дети синего Фламинго» Владислава Крапивина, «Та сторона, где ветер», «Жизнь на льдине» Папанина, что-то из Ивана Ефремова. Николай, полуоткрыв глаза, испытывал, что называется в среде озорных гуляк, похмелье. Белки рядом с ним не было, голубая простыня чудовищным образом смялась, обнажив матрас в засохших желтоватых пятнышках. Отец Спартак говорил, энурез не проявление слабости, но признак тонко чувствующей природы, Поль Валери, по-твоему, не сикался, а Виктор Гюго, ты у меня самый очаровательный и талантливый ребенок, хныкал отец, становясь излишне сентиментальным из-за выпитого. А пил он в новом городе много, профессия у него была ветеринар, а граждане как-то не спешили заводить животных, опасаясь невидимой радиации. Темно-фиолетовая подушка со звездами валялась на полу. Гусиное перо медленно пикировало по комнате. Припомнились сновиденческие подробности. Пригрелся щедушный юнец, по всему вероятно, немец, болотного цвета шорты до колен, подтяжки, вокруг произрастает лес. В руках мальчишка держал двуствольное ружье, ребенок, прищулив левый глаз, выцеливал кого-то в лесной чаще.

Вдруг послышался радостный лай, к малолетнему охотнику на всех парах мчалась овчарка с невероятно шелковистой шерстью, с широко открытой пастью. Ребенок из моего сна чертыхнулся, оглушительный выстрел ушел в молоко, перебив тонкий ствол осины. – Дауфман, плохая собака, плохая! – накричал на животное неудачливый охотник. Опасливо гогоча, в багровую предутреннюю зарю устремился гусь, шурша листвой. Скрывшись в красных камелиях да в желтых нарциссах, прочь от оглушительного выстрела. Упорхнул этот гусь, расстроился мальчик. – Еклмн, вот так ночка, – тяжело вздохнул Николай, резко сев на кровати, потом свесился с нее. Стал шарить рукой по полу, наконец, под кроватью рука нащупала стеклянную бутылку боржоми. Бесцеремонно завопил репродуктор у самого подъезда: граждане, в связи с радиоактивными осадками сегодня, восьмого января, всем жителям города крайне рекомендуется принять таблетированную форму йодида калия, о всех подозрениях и недомоганиях просьба немедленно сообщать лечащему врачу, по возможности лишний раз не покидать дома! Рыбкин натянул голубые трусы, белую майку, для приличия позанимался гимнастикой по пособию Лаврова В. И приступил к водным процедурам. Центрального водоснабжения в Припяти пока не предвиделось. Путем нехитрых манипуляций каждая из ста пятидесяти семей обладала собственными очистительными резервуарами с чистой водой. В ванной на зеркале висела полуобнаженная Маргарита Терехова, манила, чего-то недоговаривала, если на нее не смотрели, шушукалась, плутовка. Щетина зубной щетки была чрезмерно колючей, рот быстро наполнился кровью. Николай хищно улыбнулся собственному отражению. Светлые растрепанные волосы, какой-то лягушачий рот, светло-голубые глаза, нос хрящеватый. В дверях ванной показался отец Спартак, прищурился по-кошачьи, почесал волевым подбородок, спросив: когда мы с тобой уже начнем заниматься боксом? Рыбкин прополоскал рот, перечная мята приятно обожгла десны. – Пап, у нас праздник в школе, давай ближе к марту, как потеплеет, мяса пожарим, матрас надуем, глядишь, не убьешь меня своим коронным,

– криво усмехнулся мальчик, похлопывая себя по щекам с проклюнувшимся первым пушком. Побрызгав на руки духами «Командор», подросток растер шею. Пряные древесные ноты дубового мха дополняли легкие, нежные нюансы флердоранжа. – Хорошие духи я тебе подарил, нравятся, сынок? – активно беседовал Спартак. Аврора не пускала его с друзьями ловить сомов-гигантов, поэтому родственник вязался к домочадцам с разговорами, готов был выступить в роли союза писателей. И в роли писателя выступить был готов, заплатить за издание собственных текстов, лишь бы не забывали, читали. – Бать, хорошие духи, что ты заладил, у меня сегодня театральная постановка, мне опаздывать никак нельзя, – посторонившись, Рыбкин вышел в коридор, усталый китайскими лизунами, кислотно-синими, кислотно-красными, всякими разными. Отец пригнал целую фуру, дело совершенно не заладилось, люди на такую гадость и смотреть не могли. И новый бизнес как-то не заладился.

Однажды глава семейства принял разводиться шиншил. Дело получило больший общественный резонанс. И стоит заметить, дамочки были крайне недовольны, что Спартак привез им шиншил карликов каких-то. Рассчитанных исключительно на китайских барышень. Не могли они взять в толк, наши соплеменницы, что для пошива среднего размера шубы требуется по меньшей мере сорок безвинно убиенных животин. Спартак слишком любил животных, поэтому привез одну-единственную шиншиллу в качестве первой партии, да и ту сдал юннатам. Николай, шурша тапками, вышел в коридор. Вместо обоев стены были заложены кирпичами. Спартака Семеновича, боцмана в отставке, бывавшего в разных странах, особенно впечатлила Голландия с ее многочисленными мансардами, центральным водопроводом и канализацией, правда, ничего из этого реализовать не получилось тут, в Припяти. Какие наши годы, говаривал Спартак, вот закончилось бесконечно долгая ночь, а потом наступит рассвет. Любил повторять он, надсадно кашляя. А потом выучился на ветеринара, однако не пригодились.

– Кушай, милый, не подавись, – наставляла Аврора. Но Спартак Семенович был непреклонен, после пятой чашки кофе он делался борцом за права женщин и нес несусветный бред. – Наша сегодняшняя ночь есть куртизанка, падкая до бисера слов, что рассыпаны невзначай капиталистическими врагами, – расплылся отец, – вы когда-нибудь встречали сербскую королеву Елену Анжуйскую на чтениях стихов Чарльза Буковски, женщина это про молчание, когда звучит настоящая поэзия? – Коля Рыбкин потреблял пищу размеренно, никуда не спеша. Сегодня он точно решил прогулять школьную репетицию и отправиться со своим другом Бобровым на рынок, носящий изящное название шанхайка. Вареная колбаса напоминала щеки трудовика Толика, вчерашнего выпускника технического училища. Он был старше всего на шесть лет, а строил из себя афганца-освободителя, но все знали, что отсиделся Толик в хозяйственной роте до самого вывода войск из зоны боевых действий. Не жадный отец намазал сливочного масла слоем в два пальца на кусок белого душистого хлеба. Хлебобулочное изделие не успело толком остыть, булочная располагалась в соседнем подъезде. Спартак первым делом, когда просыпался, шел сразу же туда, покупал коробку пончиков со сгущенкой, ватрушки, хлеб. Работал он неделю через неделю, возил ученых по местам особого научного интереса, подвалам «Юпитера», в Рыжий лес, к могильнику Бурякова. Все-таки полноценно работать ветеринаром по зову души у него не выходило. Ему только дай повод, начнет с полным ртом рассказывать, где, какой китаец от страха штаны намочил, а где можно с лошадей Пржевальского повстречаться. – Итак, семья, выдали нам автобусы нового образца, «Иволга» называются. История об Иволге вгоняла домочадцев в глубокую тоску, тоску, похожую на чтение «Тихого Дона». Рыбкин поцеловал мать в макушку, кивнув отцу, поспешил удалиться из кухни. Мальчик спешно доел бутерброд в дверях, за ним следовала мать, а Коля кланчил копейки, ведь это наша прямая обязанность, дело, можно сказать, нашей жизни, трести деньги с женщин и детей, – подумалось с усмешкой Токареву.

На кухне продолжало раздаваться: с повышенным комфортом, доложу я вам, поездки теперь, ход мягкий такой, будто не едешь совсем, плывешь! Аврора Евгеньевна, стоя в дверях кухни, спросила невзначай: Коленька, а что вам задают сейчас по литературе читать, я хоть и домохозяйка, но в литературе сведуща, я очень даже интересовалась стихами Евтушенко, Вознесенского,



о, то были боги в облиии сморчков! Мать призадумалась: однажды я передала записку из зала Евгению Александровичу, правда ли он предал коммунизм и Ахмадулину? Помнится, концерт пришлось спешно закончить, сотрудники госбезопасности потом ходили по залу, выискивали провокатора, смех да и только, хотя в бюстгальтере у меня тогда была динамитная шашка, мне отчаянно хотелось вершить историю! Женщина пила мелкими глотками какао из чашки в форме зеленого слоника. Сын от скуки поддержал разговор, он острием циркуля, что лежал на тумбочке в коридоре, подцепил мозоль на указательном пальце: ну, вот из моего любимого, Александр Еременко; электрический ветер завязан пустыми узлами, и на красной земле, если срезать поверхностный слой, корабельные сосны привинчены снизу болтами с покосившийся шляпкой и забившийся глиной резьбой! – Ужас какой, какая наркомания! – восторженно произнесла мать. – А по-моему, точные образы, не требующие никаких комментариев! – сказал весело отец, дожевывая бутерброд, на его плечи было накинуто широкое банное полотенце, усы топорщились – А ты мне когда последний раз стихи читал, не розы кованные дарил, а стихи вот искренне читал, в каком году? – начала заводиться Аврора, словно заводчица змей. – Пожалуйста, – произнес мужчина, приобнимая супругу за талию, – широк и желт вечерний свет, и нам нужна апрельская прохлада, ты опоздала на много, много лет, но все-таки тебе я снова рада. – Матушка покраснела рябиной, уподобившись Демьяну Бедному, увидевшему расстрел Фанни Каплан. Аврора едва не рухнула в обморок от изящных словес, произнесенных супругом. Спартак Семенович с готовностью подхватил суженую на руки. Хихикая, два половозрелых человека уединились в спальне для дальнейшего родео с элементами блаженства.

Коля чрезвычайно опаздывал, Славка Бобров ожидал его вот уже полчаса, бродя по аллее Курчатова, его даже несколько раз спутали с немецким шпицем. Близорукая бабулька в белой шубе в черную крапинку предложила, взяв за локоть ребенка: Жан-Жак, пошли домой, я котлеток вкусных приготовлю, пи-пи ты уже сделал, ветеринар говорил долго не гулять! Бобров не повелся на провокацию, отошел в сторонку, не удостоив дамочку ответом, котлеты, видите ли. Внезапное прикосновение холодных, как фраза «нам надо расстаться», рук, да прямо к шее, заставило мальчишку вскричать: женщина, я не собака! – Да, а как похожи, – протянула дамочка, рассматривая мальчика. После чего удалилась в сторону синих бесплатных туалетов, почти волооча задыхающегося черного мопса на поводке. Бобров успел выпить пепси в стеклянной бутылке, успел разбить бутылку о канализационный люк, растоптать снеговика. Некрасиво спеть звезду по имени солнце. И всерьез подумать, какой серийный убийца из него мог бы получиться. В сером пальтишке, в шерстяной кепке-восьмиклинке, в зеленых кроссовках, Рыбкин выбежал на аллею Курчатова, помахал приветственно рукой товарищу. Славик в песочном драповом пальто, с русыми усами, в красной бейсболке напоминал совершеннейшего отморозка, способного отобрать пенсию у старухи во имя чего-нибудь неблагонадежного. В руках он держал полотно, завернутое в газеты. – Это что такое? – спросил Коля, прикуривая «Астру» без фильтра, сплюнул приставшую к губе табачную жилку. – Это мы сейчас будем продавать одному коллекционеру Ахматову! – пояснил довольный Слава. – А ну, покажи, какая у тебя Ахматова? – Рыбкин требовал подробностей, Рыбкин нуждался в конкретике. Пришлось развернуть полотно, на скамейке теперь лежал портрет Анны Андреевны Ахматовой. Чей выразительный профиль с горбатым носом вызывал у одноклассников несуеточный интерес. Бывало, самые отчаянные мальчишки уединялись в клозете с учебником русского языка и литературы, где присутствовала фотография Анны Андреевны, половое созревание порой принимало причудливые формы. Однако Николай ни разу не уединялся с профилем Анны Андреевны в клозете, воспитание, знаете ли, не позволяло. К тому же город стали наводнять журнальчики, в которых снимались настоящие актрисы, лишенные всякого срама, они обнажались и принимали интересные позы, любой пингвин мог им позавидовать. Славика же воспитывала одна бабушка, одна, заслужившая уважение Юрия Лотмана, Вячеслава Всеволодовича Иванова, Бориса Андреевича Успенского и прочих литературоведов, лингвистов из школы Тарту, бабушка. Внук совершенно отбилсЯ от рук, порой целый консилиум, состоящий из ученых мужей, а также не менее ученых жен осаждал квартиру Бобровых. С тем, чтобы при-

вести внука в чувство, отучить его торговать на черном рынке нижним бельем Зинаиды Гиппиус, губной помадой Лили Брик, картинами с дарственными надписями известных живописцев. Когда Чжан Сяоган останавливался в гостях у бабки Боброва, авангардист подарил ей картину, на которой были изображены три смурных узкоглазых гражданина, лица мужчин бледны, лицо женщины желтушно, словно дыня колхозница. Тогда удалось сбыть этот холст за две тысячи долларов какой-то немецкой чудачке, кажется, подружке Александра Бренера. Неровен час Бобров распродал бы бесценную коллекцию целиком, столь вожаденное для иностранных специалистов собрание, по правде говоря, стоило существенно больше той цены, что назначал обычно Славик. Однако Бобров был далек от вопросов искусства.

Стал накрапывать дождь. Кому-то был мил чей-то взор манящий, и алость чьих-то близких губ была мила, и дождь чуть слышно морозящий, и зелень острохвойных куп. Николаю Рыбкину все это было не очень-то интересно, он придирчиво осматривал освобожденное от газет полотно. – Это знаешь кто нарисовал, это нарисовал Натан Альтман, ученик Репина, возлюбленный моей бабки, – Славик говорил так, как будто имел представление, о чем он говорит. Поэтесса восседала на табурете, небрежно закинув ногу на ногу, темно-синее платье, руки сложены внизу живота, грациозный изгиб длинной шеи, выпирающие ключицы, аристократическая белизна кожи. Оголенное плечо как будто бы просит, чтоб его лизнули. Спина закрыта шалью темно-медового цвета. Иссиня-черные волосы поэтессы собраны в пучок, длинная челка. Локти, колени, туфли, табурет и даже подбородок написаны под прямыми углами. На заднем плане виднеются треугольники, многоугольные фигуры в серых, голубых, желтых, сиреневых тонах. Неровный пол, как будто разрезан четырехугольниками коричневого цвета.

Все до единого предметы на портрете состоят из ровных линий и углов, ровных линий и углов. – И за столько мы можем продать эту картину? – задал весьма корректный вопрос Коля. Славик застегнул молнию своей олимпийки до самого горла, поднял воротник песочного пальто, раздумывая, ответил: подруга моей бабки сказала, что этот портрет неправдоподобен и страшен, что Ахматова на нем какая-то зеленая и угловатая, думаю, можно продать тысяч за пять долларов, ценители некрасивых женщин найдутся всегда. Согласно учению Роберта Льюиса Стивенсона, Коля бы предпочел спрятать данную картину до времен, пока белогвардейцы предложат нормальную цену, пять тысяч долларов, тьфу. – Кстати, хотел тебя всегда спросить, сколько ты уже накопил денег и куда собираешься их тратить? – поинтересовался Николай, пока подростки шли вдоль медицинской части. Там в подвалах шлемы, куртки, там в подвалах разная одежда, снятая с первых ликвидаторов чернобыльской аварии. Излучение безобразное, тысячи миллирентген, рвущих живые тела на части, радиоактивная скотобойня. В девяностых, рассказывали, мародеры без дозиметров, специальной защиты, залезли туда, искали чего-нибудь интересенькое, трогали одежду руками, перебирали шлемы пожарных. Потом ожоги страшные получили, потом к Петру за яблоками отправились. В подвал этот лучше и не заходить, нам в школе об этом в первую очередь сказали. Хорошо, что окна-лазейки бетоном сейчас залили да песком засыпали, чтоб дурашки не лезли, а то был человек – и нет пять сразу человек, деление и умножение в чистом виде. У нас была общая история с Бобровым, события не вымышлены, не сомневайтесь, можете у него потом спросить.

Наш бывший одноклассник Артур, весьма бандитских наклонностей ребенок, чей отец торговал бананами и людьми, перевозил в коробках из-под бананов граждан ближнего зарубежья. И был убежденным Джоном Диллинджером со всеми прилагающимися побегами, судами, взятием заложников в тюремной клинике для душевнобольных. Погоней на БМП за Ельциным. Тихой служебной должностью в администрации президента. И последующим смертоносным укусом шмеля. У нашего этого одноклассника Артура по прозвищу Черная ласточка смерти, по нелепой случайности оставшегося на третий год в пятом классе, была любимая присказка. Присказка такая: можно сдохнуть каким-то уж слишком по виду вялым, можно сдохнуть спокойно, так и не став бывалым, можно сдохнуть перенося соседям полуавтомат Вятку, можно сдохнуть, как голодный питбуль сердитым, можно сдохнуть, будучи типа Антоновки, кислым соком нали-

тым. Однажды он проигрался в карты, а времена стояли весьма вегетарианские, никого еще за проигрыш в карты не лишали чести, даже мизинцы не отрезали, договорились, что наша черная ласточка смерти спустится в подвал медицинской части, с этим не должно было возникнуть никаких проблем, на двери еще не повесили замки. И наш Артур, дабы не прослыть фуфлом, в криминальной среде фуфлом называли гражданина, что не сдержал слово, гражданина, на которого положиться не представляется возможным ввиду его ненадежной сущности. Такому человеку руки для приветствия не подаст даже физрук. А также фуфлыжников называли прочими обидными словами, к примеру: плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин. Или же просто ставили на счетчик, за каждый день промедления сто рублей. Артурчик по условию сделки должен был провести в подвале шестьдесят минут и принести в качестве доказательства своего присутствия в этом имманентном пространстве, куда, между прочим, повадились ходить кришнаиты за просвещением, принести Артур должен был кирзовый сапог. Помнитесь, вернувшийся минут через десять мальчишка приобрел удивительный вид. Голова его сделалась плодом ландыша, белая-белая, сам он неистово заикался и даже намочил модные тогда вареные джинсы. Зато перестал быть злостным обманщиком, ибо тюремное общество есть детский сад с элементами пьес Эжена Ионеско.

– Что еще хочу сказать, коллега, феназепам бесповоротно испортился, теперь в нем столько мела, что впору им рисовать на школьной доске номера всех кобыл, что мне не дали воспользоваться в должной мере их телами! – делился наблюдениями Бобров, иронизируя. Мальчишки шли у самого колеса обозрения, поскрипывающего от дуновений ветра. Прямо перед ребятами упал желтый кусочек отколовшейся краски. Болезные машинки в луна-парке, стоило только отвернуться, меняли свое положение, вы слышали скрип, машинка теперь ближе. В чернотельной зоне отчуждения мало что зависело от человека. Кто ж вам расскажет, почему в трансформаторной будке, давно обесточенной, бьет электричество, или о других странностях. Дышать сухим смолистым ароматом было приятно. Правда, ко всему прочему, к лесному оркестру примешался стойкий запах керосина. – Да, а еще от эпилепсии перестали давать бесплатно таблетки, – подержал Коля, обходя по дуге лужу с бензиновыми разводами. Ребята шагали по растрескавшемуся асфальту, сквозь который проросли ромашки, четырехлистный клевер, сорная трава. Растения уподобились ворам-медвежатникам, с легкостью взламывающим сейфы, поразился метафоре Коля, но тут же признал ее несостоятельной. А Славик все-таки ответил, для чего ему понадобилось столько денег: понимаешь, хочешь мне купить себе хозяйство, плантацию, дом двухэтажный, мансарда обязательно, скотину заведу, буду писать книгу, как Редьярд Киплинг, надо где-то осесть, старик, возраст, сам понимаешь. Ребята шли в тишине по песчаному карьеру, наконец Бобров произнес: главное закончить девять классов без троек, деньги будут, прорвемся, бабушку очень жалко, стала забывать все, что делала пять минут назад, деменция, наверное, найму для нее самую лучшую сиделку.

Далеко-далеко виднелась многоэтажка, ее заволкло дымной епанчой, в школе недавно проходили восемнадцатый век, а старообрядцы оказались смелыми дяденьками, а крепостное право отстой. На крыше дома по улицы Труда виднелись огромные выцветшие буквы, они читались с трудом, словно Николай был учеником класса коррекции, впрочем, в ДК «Энергетик» обучались дети самого разного интеллектуального уровня, надпись была такая: слава труду. Славик обольстил подобным обращением, быть рабочим у станка, вроде, престижно. Только было не совсем понятно, лучше, конечно, стать физкультурником, обучаться в педучилище, где много хороших цыпочек, небезынтересно проводить свои лучшие годы, а в ПТУ одни гопники, болтающие через губу, чего доброго, втянут в плохую компанию. Выбор стоял еще тот, куда податься. Стоит сказать, построить табуретку было несложно, Рыбкин прекрасным образом владел искусством боя крестовой отверткой, мог по чертежу сколотить шкаф, поменять розетку, прочистить трубы на кухне. Впрочем, Слава и Коля были мальчишками гуманитарного склада ума. И вся эта философская теология, естественная теология, религиозная метафизика, рациональная теология, христианская философия были чужды, были до лампочки Ильича, что продолжает гореть двад-

цать девятый год без всякой замены в их подъезде. – У тебя деньги есть, давай на таксо поедем на рынок торговать! – предложил Рыбкин, услышав, как гремят пятаки в карманах друга.

Товарищ замаялся, словно был бумажными десятью рублями девятую седьмого года выпуска. – Ой, я настолько обаялся этой буржуазией, что потерял по дороге в школу все деньги, что мать выдала на завтрак, – пожаловался Бобров. Затем достал что-то из внутреннего кармана пальто, протянул друг стопку карточек. На одной была дородная дама с рыжими волнистыми волосами, по пояс она стояла в темно-синей воде, рядом с нею плавала ракушка, внизу картинке было красиво выведено: Венера. Другое изображение, три голенькие девицы, у каждой по красному яблоку, они стоят полукругом у костра. Особенно Коле запал в душу этюд с барышней, что обнимала шею гуся, особенно даже не это, особенно лобок барышни, словно шкурка свежего персика. На четырех оставшихся карточках девы возлежали на перинах, их руки как бы невзначай прикрывали промежности. Шумели кроны деревьев, сосен, лип, явзов. Неожиданно Николай вспомнил слова своего учителя из Брянска: чтобы книгой сделаться лес, надо не по верхушкам глядеть, милоч, а к земле нагнуться, в мелочь вникнуть, копеечку поднять, опохмелиться дело нужное, нужнее, может быть, фотохимической реакции!

И как бы нехотя дружок признался также: эти еще, сто пятьдесят рублей отобрали, интернатские, пока я тебя утром ждал, подошли, поздоровались, слово за слово. Про интернатских Николай был наслышан, в родном Брянске была колония для малолеток. Ох уж, интернатские говорят красиво, умнейшие люди, куда только интеллект пропадает, доказать, что ты слон для них ничего не стоит, или с незнакомой девочкой знакомятся: я вас любил, любовь еще, возможно, что просто боль сверлит мои мозги. Девчонки, ревностью томиться в таких случаях возбраняется, а уж давать взаимно и подавно не стоит. И вот уже очередная ученица Василия Сухомятского или Антона Макаренко, что искренне верует в перевоспитание, преданно несет мерзавцам белое полусладкое, красное столовое. Раззявив рты, внимают очередной слезливой истории, которую с легкостью мог написать Анатолий Приставкин. Да так написать, что повесть ввели бы в школьную программу. С этими интернатскими держи ухо в остро, отвертку в кармане, был научен Коля, овладел этой житейской наукой на высший балл. И поколочен был не раз, и сам носы и губы разбивал. Но никогда от своего не отступал, заднюю не включал.

А как встретятся эти восьмиклассники, которые из детского дома, для человека неподготовленного – все, суши весла, смущения, страха показывать даже не смей. Пусть тебя обхаживают, мол, войди в положение, у тебя мама, папа есть, а мы сиротки, у нас иной раз и пожрать нечего, ацетон подорожал! А зачем вам ацетон, уважаемые, интересуйтесь невинно. А они говорят, вот у тебя папа есть, мама есть, а мы ацетон мешаем, дышим им, к нам гномики приходят. И получается, что кроме гномиков у нас никого на белом свете. Частенько Николай встречал этих горемык в городе, народ у нас доброжелательный, депрессии не подвержен, как эта, Эми Уайнхаус или Курт Кобейн, вы не подумайте, честный трудяга у нас последний ломоть хлеба беспризорнику отдаст. Народ у нас, как сказал классик, вместить в себя может все, у народа нашего не голова, а дом терпимости. А вообще странно, думал Рыбкин, в лесах столько дичи мелкой, грибов, ягод, горячих пятен стало меньше. Карты чистых мест обновляются чуть ли не каждую неделю. Опять же, два фонда помощи обездоленным организовали. Одежду такую выдают, закачаешься. Допустим, плащик светло-зеленый, мягкий-мягкий. В дождь его наденешь, а он цвет меняет, становится темно-синим. И теплый, к тому же, осенью можно с одной футболкой носить, не замерзнешь, не мамонт.

Серая мухоловка на липовой ветке, склонив голову набок, следила за мальчишками. Мальчишки шагали по обочине, углубляясь в чащобу категорически возбранялось. Там искрилась лужа, электрические щупальца хлестко стегали землю, словно земля была строптивым скакуном, красным конем Водкина даже не пахло, если вы понимаете, о чем я. Над самым ржавым БТРом мерцала сфера, левитацией нынче удивить трудно, только человека приезжего из города. А для местных в порядке вещей подобные экзерсисы наблюдать. Одна одноклассница, четырехглазая Ксю, рассказывала, как ей однажды посчастливилось взобраться на этот БТР и коснуться сферы.

Говорит, что теперь может видеть осознанные сны-пророчества. Славка закурил, метрах в двухстах лежала на боку цистерна, надпись «Горизонт» почти стерлась. Ржавый бок цистерны был распорот, в зияющем отверстии виднелся красный торфяной мох. В сущности, безвредная вещь, но попробуй минут пять в замкнутом пространстве с этим сфагнумом посидеть, такие галлюцинации начнутся, словно половину домашней аптечки разом принял. Верить начинаешь, и в то, что Борис Виан «Я приду плюнуть на ваши могилы» не писал, и в то, что из состава феназепам наконец уберут столько ненужного мела. И что СПИД вымышленный недуг, будешь верить так же. Лишь вера у нас и осталась, да гудящий благовест, призывающий к молитве, милые читатели.

– Кстати сказать, ты уже выучил, какими могут быть редукторы, цилиндрические, канонические, планетарные, волновые, комбинированные, выучил, не выучил? – спросил между делом Бобров, закуривая сигарету «Космос». На столбе рупорного громкоговорителя висел синий плакат с Валентиной Терешковой, на голове Терешковой красовался скафандр. Женщина-космонавт смотрела как будто с осуждением на мальчика, что же ты, не успел стать пионером, а кто успел, тетенька, кто успел. Однако Бобров, глубоко затянувшись, выпустил сизую струйку дыма, поправ любые авторитеты, ведь являлся заядлым оппортунистом. Николай Рыбкин, ударив длинной палкой по кустам крапивы, спросил: и все-таки деньги немалые, проще, наверное, потратить их с меньшим, что ли, размахом. Бобров опять заладил: понимаешь, Колька, вот я услышу, как шумит, значит, мой молодой лес, посаженный мною лично, слышу и приходит ко мне осознание, что климат немножко в моей власти, и пусть тысячу лет спустя человек, не просто абстрактный человек, праправнук мой будет счастлив, потому что все это благодаря мне он видит, осязает, смекаешь? Слава Бобров чрезмерно озаботился вопросом собственного будущего. Люди постарше, в том числе те, кто жил в этих краях до аварии, а теперь вернулись, они вернулись преимущественно доживать. А все эксперименты, сто пятьдесят семей, уникальнейший заповедник, флора, фауна, которой нигде в мире не встретишь. Та еще авантюра, вот родители Рыбкина, они не столько в помощь науке приехали, сколько развлечься, да, набраться свежих впечатлений. Семья же Бобровых приехала на полгода раньше. И то, как приехала – бабушка с восемьдесят седьмого тут проживала. В доме своих еще родителей. Внучок у ней был проблемный, от него отказались многие детские дома, воронежский, омский, тульский; проще перечислить, кто не отказался.

И поселили Бобровых в пятиэтажку на улице Дружбы народов. Бабушке Аглае, как герою труда, ремонт сделали за счет научного института, удобства провели. Сдружился Рыбкин с Бобровым. Сначала приятелиствовали, в ДК «Энергетик» всего три класса, в первом учатся с восьмью до двенадцати лет, во втором с двенадцати до пятнадцати, а в третьем с пятнадцати до восемнадцати, так оно удобней выходит. Как правило, приятели переходят в разряд лучших друзей по причине соседства и схожих взглядов на голых девчонок. Однако Николая и Славу связывал безграничный интерес к мистическим проявлениям зоны отчуждения. Комната Славика была заставлена предметами, способными удивить коллекционера Джона Уэйна Гейси. К примеру, в подвалах завода «Юпитер» до того, как «Юпитер» снова стал служебным объектом, Славка нашел заспиртованный мозг, теперь колба стоит у него на окне. Когда у бабушки Аглаи поднимается давление, она прикладывает ко лбу этот самый розовато-серый чужеродный орган. И все моментально проходит, а еще улучшается настроение, перестает ломить кости. Но особенно Колю влекла картонная детская маска медвежонка. Необходимо было примерить ее, взглянуть глазами мишки на что-то, как сразу же твое зрение переносилось на сотни лет в прошлое, чаще всего в дореволюционные времена. – Вы довольно лукавы, хочу вам сказать, хотя и сильны в арифметике, однако нытик вы неопикуемый, женщины таких не любят, – лъстила в старомодном закрытом платье практикантка. Лъстила на свидании у старого клена золотоволосому, кудрявому гимназисту. Такую сцену однажды увидел Николай.

– Кого я люблю, – задумался Бобров, – я люблю Эмили Дикинсон, она такая, она не боится погибнуть от восторга на берегу желаний, прикинь, ей не страшно погибнуть в океане страстей, вот, что я думаю, – Славка удивил меня этим своим изречением. – Скажи всю правду, но не сразу, а то умру я от красоты, – продолжал витийствовать Славка, – как-то раз сказала Дикинсон. – Упи-

таннный барсук с двумя премилыми белыми полосками на мордочке неуклюже выбрался из подвального окна пятиэтажки, шумно принюхался, засеменял в сторону детского садика «Яблонька» по улице Спортивной. Садик граничил со старым Семиходским кладбищем, оградки уж никакой в помине не было. Черный щенок у желтой конуры, прозванный в простонародье Мухой, размеренно грыз куриную косточку. Белая подпалина на покато лбу. Лапки маленькие, тело маленькое, словно не зверек, а сборная игрушка из киндер-сюрприза. На могилах лежали конфеты «Ромашка», «Мишка на Севере», половинчатая бутылка водки вызывала бурное желание: закинуть за воротник. – У мертвых брать нехорошо, – видя мою заинтересованность, пожурил товарищ. Жутчайшая сколопендра ретиво скрылась под облезлой зеленой скамейкой. Все поросло бурьяном, крапивой, борщевиком, тонкие, как ручонки дистрофика, веточки клонились к земле, плоды ежевики напоминали уродливые бугристые головы. Мы возвращались той же дорогой. У самых покосившихся ворот детского сада стояло два деревянных ужасающих льва. Каждый много рослее и крупнее нас. Они провожали подростков большими черными, перламутровыми пуговицами-глазами. Они могли сойти за Карла Ясперса, Льва Шестова, и даже Ханну Арендт, что решилась бы вдруг стать детской скульптурой на потеху завтрашних компрачикусов, дяде Рубику, монтеру лифтовых установок.

Безотчетный страх, подобный страху проснуться в криогенной камере, охватил меня, стоило лишь услышать удары резинового меча по лестничным ступеням в глубине детского садика. В нестерпимо зачесавшемся лице я распознал признаки диверсии. Резь в глазах, подступившая тошнота, пальцы пахнут горьким миндалем, привкус металла во рту, слизистые раздражены. Все указывало на химическое отравление. – Вероятно, мы попали под химическое облако! – крикнул у своему другу. И мы побегали как африканская сборная по бегу.

Миновав неухоженное кладбище, мы вышли на поляну, поросшую мхом, недавний дождь окропил листья смородины, лиственные деревья казались хилыми, как писатель Стивен Кинг. – Бывает, что те черныбыльские жители, в разошедшей одежде, у кого-то глаз уже нет, суставы плохо гнутся, кожа вся облезла, одни мышцы видны, – Славик примолк, его монолог показался излишне депрессивным. – Ох, мне совершенно не нравится твое аллегорическое толкование, – несмело произнес Рыбкин. Бобров рассмеялся, словно его щекотали тысячи перышек, произнеся: на Семиходском кладбище по ночам случаи такие были, встречаются упыри и обращаются к живому человеку, они вреда причинить не могут, но картинка жуткая, сплывают себе там да мычат. Две желтые овсянки, чирикая, пролетели над раскуроченным карбюратором, что лежал на крыльце заброшенной автомастерской. Погода была не январская, в январе обычно объявляют ЧП в Азербайджане, и Нагорно-Карабахская автономная область вынуждена страдать. А еще в январе останавливается сердечко гангстера Аль Капоне. В январе, если вы помните, скончался отец советской космонавтики Сергей Курчатов. А в нынешнем же январе ничего подобного не наблюдалось. Выдалась аномально жаркая пора, ни о каком ненастье речи быть и не могло, это исключено.

Мы вышли на проселочную дорогу. Впереди шел грибник в бежевой куртке, в зеленых резиновых сапогах, в шляпе с москитной сеткой, в руках у него была корзинка. – А ты знаешь, что старший брат Волкова, который еще работает на пилораме, он, представляешь, нашел пачку «ТУ-134», которую курил один из ликвидаторов еще в восемьдесят шестом! – сказал товарищ. – И что, пачка и пачка, наверно, весь табак уже высох, беспонт открытый, – возразил Рыбкин. Мальчики шли мимо комариной плешки, что притаилась в развалинах старого депо, сплюснутая, как консервная банка газель, жужжит мошкара. Пространство вибрирует, пульсирует. В область действия наступишь, все тело переломает, станешь как фарш на комбинате. – Это пачка особенная, облученная, неизвестно, сколько времени она провалялась и где, – рассказывал Бобров, жестикулируя, словно являлся обладателем кататонического синдрома. – Но дело в другом, когда куришь сигаретку, брат Волкова мне лося пробил за то, что я попробовал, но я просто ко рту поднес, а вот друзья брата рассказывают, что когда куришь такие, то разные картинки видишь. Говорят, в кабине пилота оказываешься, вокруг стюардессы, граждане, и все так реалистично, ну,

вроде ты, и в то же время не ты за штурвал держишься, уши закладывает. По рации тетка электрическим голосом кричит: снижайте высоту, борт ИЛ-86, до греха не доводите, вы меня слышите, передайте, как слышите? – а чтобы управлять летательным средством, дорогой Коля, тут одним моделированием самолетов не обойдешься, тут и аэродинамика нужна, авиационное материаловедение. – И что же, ты решил выкрасть и продать эту пачку? – риторически спросил Коля. – Ага, сто баксов сигарета, все вместе пятьсот! – Бобров являлся тем еще коммерсантом. – А много вообще в городе граждан помимо самоселов? – поинтересовался Рыбкин. Их семья заселилась месяца четыре назад, с общими правилами жизни они были знакомы, а вот подробностей не знали. У теплотрассы, надземной трубы, обмотанной фольгой, происходила настоящая феноменология. Рыжий кот жрал большущую белую крысу. Это было конкретное явление, не требующее, чтобы его описывали, а уж тем более истолковывали. – По-разному, кто-то обслуживает станцию, энергия-то никуда не делась, кто-то в швейных цехах платья для Москвы шьет, столярка у нас работает, в Белоруссию мебель отправляем, – докладывал Славик.

Дорогу мальчишкам преградила перерубленная береза, прощальные слезки капали из места, где немощное деревце перерубил топор лесника. Из трубы сосенной избушки валил синеватый дымок. В доме кто-то ходил, тяжелые шаги, скрип половиц. Черепичная крыша изрядно прохудилась. Казалось, взберись на плечи друга, увидишь чердачное убранство. Взвилась курка ружья, вспомнились слова Бориса Васильева: не стреляйте в белых людей. Ни одна из страниц Колиной книги не была проникнута любовью к родине и природе. Должно быть, по-настоящему Рыбкин любил только маму, папу, да Кристину Баранову. Почти физически мальчик ощущал, как ружье целится ему прямо в лоб. Бобров был того же мнения, смерть близка, поэтому он поднял над головой руки, стал договариваться: дяденька, мы на рынок идем, ничего плохого в виду не имеем! Тут Николай приметил два колышка у самого крыльца, на колышки были насажены противогазы ГП-4У, они же слоники, знак сам по себе отвратительный, хозяин ненавидел прогресс и науку. Мальчику стало неуютно, он вспомнил чудное мгновение, когда Баранова на большой перемене разрешила заглянуть под свое платье, пришлось отдавать ей потом деньги за три завтрака. Послышался старческий голос: вот и проваливайте на свой рынок, нечего ко мне в душу лезть! Пожилой гражданин рассмеялся, по случайности выстрелив где-то в избе, что-то рухнуло, послышался звон разбитого стекла.

Подростки припустили прочь от дома. В левом ухе у Боброва гудело, Николай держался моллдом, приговаривая: во дела, во дела, пока не родила! Брели по валежнику, шишки хрустели под ногами. Не разговаривали о случившемся, молчали о случившемся. Родители Николая, Аврора и Спартак, по молодости были настоящими авантюристами, в племени каннибалов успели пожить, кого-то даже там скушали, по парижским катакомбам гуляли, костей привезли, Рыбкин слышал историю матери, как они на Соловецких островах взяли по бульжнику, тяжелому такому бульжнику, килограмм по пятнадцать, двадцать. И в течение суток, не проронив ни звука, просто несли свои камни на Секирную гору, это называлось у них смирение. Как много в Чернобыле смирения, подумалось мальчишке. А ведь живет себе пожилой человек, есть у него дети, внуки, непонятно. Может быть, он нас и прогнал только потому, что не знал, о чем спросить, кто президент Америки нынче, на месте ли район красных фонарей, какой срок правления пошел у нашего президента. Бедняга, чего тут добавишь.

Вышли на еще одну опушку, посреди которой стоял строительный ковш в не очень хорошем виде, желтая краска кое-где облупилась. Рядышком с ковшом покрывки от грузовиков, чуть поодаль зеленая будка из жести. В папоротнике притаился серый кролик, носиком своим вынюхивает. Ива остролистая, ветки бордовые, бедовые, как будто напитались кровушкой. Солнце печет. Дозиметр на шее сто пятьдесят микрорентген показывает, пунктуален, стервец. – А ты о нашем известном грейферном ковше смерти, он же тиски смерти, не слышал? – Коля с Бобровым, не доходя до строительного приспособления шагов десять, беседовали. Они стояли на высланной иголками дорожке. И не дожидаясь ответа, товарищ продолжил: к нему подходить вообще нельзя, говорят, им разгребали завалы на крыше реактора, то ли с крыши блока, то ли остатки урана и

графитовые стержни переносили. Вот мы сейчас в шаге от него стоим, прикинь, а дозу получаем триста рентген в час, а если в него залезешь, то там вообще, пятнадцать тысяч рентген, как селетка на солнышке зажаришься.

Рыбкин поздно сориентировался. И впрямь они подошли вплотную к ковшу. – Один знакомый знакомого на спор провел в нем три минуты, с тех пор он исключительно на китайском разговаривает, по-русски ни бум-бум. – Для него специальную школьную программу даже разработали. Хотя в самой попытке перевода на другой язык уже заложена ошибка, важно ведь что, систематический подход, методика, – рассказывал дурашливо Бобров. Мальчишки направились ко второй медицинской части, черные подвальные окна напоминали глаза деда-паука из кинофильма «Унесенные призраками». – Важна репутация, писатели есть великие и рядовые, а кого можно в первую очередь перевести, вопрос, индийцам нужен автор медик, французам какой-нибудь извращенец, – Слава, довольный собственными речами, едва не угодил в яму с жаровней, где-то рядом был газ. Коля успел оттолкнуть товарища. Метра на два вверх взвился огненный столб. Как будто бы чиркнули огромным колесиком, пламя напоминало вечный огонь, вечный огонь наших павших на городских контрольных товарищей. Сухостой прогорел стремительно, солнце клонилось к полудню. – А сейчас он где, этот китайский мальчик? – Рыбкин растегнул бежевую с белыми полосками мастерку, на груди белой майки растеклось потное море, наверное, соленое. – Увезли его на историческую родину, все же просто, думает и говорит человек на китайском, китаец и есть. – Подростки завернули за угол медицинской части, осколки кирпича и стекол скрипели под ногами, Коля спросил: а ты сам туда не спускался? – Ну, ты и дебил какой-то, лазили, еще как лазили, только старшаки, в подвале больницы же загрязнение самое высокое, туда сбрасывали вещи ликвидаторов аварии. Рыбкин с размаху пнул консервную банку в кусты можжевельника, откуда донеслись исполненные проклятий междометия. – Ты зачем Петра Михайловича обижаешь? – то ли всерьез, то ли шутя поинтересовался товарищ. Ремарка, без ремарки никуда: междометия это слово или выражение, которое возникает как самостоятельное высказывание и выражает спонтанное чувство или реакцию. И для закрепления материала вот вам примеры: ой, вот это да, о, э, эх, ну и ну!

### **В четвертой главе Рыбкин и Бобров убили Анну Ахматову**

А Петр Михайлович являлся бомжом. И успел он еще до своей бомжатской жизни простить дочурку за то, что она предала его, переписав на себя квартиру родственника. И полюбить успел, не обзавясь никого обидеть, а также обучился жить на улице, к тому же притворного прощенья не ждал наш Петр, бродил и любовался белым светом. Старинной речью обладал, пока не выперли из института, где он преподавал религиоведение. Любил весеннюю грозу в начале мая, в раскатах грома слышал разговоры из прошлой, прошлой жизни. Мечтал услышать детский смех в квартире, прописки не было, увы, но были чердаки. Он, словно горлышко в ангине, уж позабыл, как папа пел ему, как ныне было то: вставай Петруша, в школу, вставай наш вещей, вещей наш Олег! Петр Михайлович жил где придется, на железнодорожном вокзале, в школе, иногда в раздевалке бассейна, однажды видели, как он смиренно посапывал в кабинке на самом верху чертова колеса. Говорят, радионуклиды для него что мошкара, в питании неприхотлив, бродит и бродит по этим солнечным палатам, в мусоре копошится. Прильнет к сосне корявой и чувствует: мне только десять лет. Удивительный гражданин, бомж Петр Михайлович. Между прочим, старейший житель зоны отчуждения. По слухам, живет здесь с конца семидесятых, а это очень, очень давно.

Бобров, смущаясь, выдавил: извините нас, Петр Михайлович, мы не нарочно банку в вас кинули. И подростки спешно направились в сторону ромашкового поля, посреди которого застыл автобус. Оранжевый, как порошковый напиток Yupi с апельсином. А имя какое, Икарус. Причем в таком состоянии необычайном, ни царапинки, окна что совесть Юрия Деточкина, весь такой выхолощенный, рядом пройти страшно, мало ли, ненароком поцарапаешь своим дыханием. Стоит в поле автобус этот, никого не трогает, и ты не тронь. Автобусу лет двадцать пять, не меньше,



никто за ним не ухаживает, а он как с завода. Это еще что, из него по временам играет музыка еле слышно, прямо из магнитолы, «Лебединое озеро» или, там, советская эстрада. Говорят, не успели уехать граждане, когда взрыв на станции случился, пропали пассажиры, испарились и все тут. – Давай сходим, тут идти-то метров пятьсот! – прищурился Колька. – С дуба рухнул, ты человек новый, думаешь, не пытались, вон отец Левкина на праздник морского флота, дерябнул наливки, порвал на груди тельняшку, пошел проверять. – И что ж говорит отец Левкина? – Рыбкин жевал горький колосок. – А ты сам спроси, вон полгода уже сидит, одна голова виднеется. Николай получше всмотрелся, возле водителя сидел черноволосый мужчина, глядел прямо перед собой, не подавал признаков жизни, впрочем, его и не просили их подавать. – Жена за ним решила не идти, женщины чувствительные натуры, Елена Троянская целый город совратила, Мата Хари фашистов до белого каления довела, в общем, жена Левкина под мышку схватила сына и уехала к дальним родственникам во Владивосток. А Икарус теперь наша местная достопримечательность. Месяцев семь назад приехала съемочная группа из Польши, тоже сгинули, вон, в салоне сидят. Да, Коля, свободного времени у нас достаточно, но есть ли у нас время подумать, вот в чем загвоздка, – произнеся это, Николай сплюнул длинной ниткой слюны в ближайшие кусты барбариса, откуда незамедлительно прилетел пустой пакетик из-под ананасового сока.

*Считаю необходимым обратиться за комментарием к автору данной истории, Мише Токареву: излишне часто мои герои плюются, курят, благо не матерятся. А дело обстоит, дружи мои, в упущенном воспитании, коему я не успел вовремя подвергнуться. И так уж случилось, на всех группах анонимных невротиков, в отделениях психиатрической помощи, неврологических стационарах, когда собеседники вынуждены представляться: Уильям Стюарт Берроуз, любитель опиума, друг Аллена Гинзберга, Джека Керуака, автор экспериментального романа «Голый завтрак», человек больной, в чистоте сорок восемь часов и две минуты. В моем же случае подобные излишества совершенно не к месту. Достаточно сказать просто: Миша Токарев. И люди в недоумении начнут хлопать, ибо понимание будет присутствовать у людей, человек, не считающий каждую минуту своей чистоты, не наркоман, не алкоголик. К тому же, это в некотором роде честь являться простым Мишей Токаревым, не находите? А то, что плюют да курят, их выбор!*

Недалеко от гостиницы «Полесье», первые три этажа которой недавно отреставрировали, собрались мужики, шел обеденный перерыв. Человек двадцать в темно-синих куртках-спецовках, у каждого по двухлитровой банке в руках. Усы наличествуют у всех, и ни у одного в усах капуста, усы благопристойные, расчесанные. Тут же в оранжевом ларьке дамочка в белом переднике, льжонной синей шапочке. Как будто коллективная гражданка, составленная из прочих гражданок. Нос как у Инны Чуриковой, глаза как у Татьяны Друбич, скулы как у Людмилы Гурченко, не помню, после какой операции, волосы как у Ирины Апексимовой, улыбка как у Фаины Раневской, зубки как у Нины Усатовой. Бобров и Коля как раз подошли к гостинице. До рынка было топтать минут сорок, а тут автобусная остановка. Рынок считался черным, правда, считали его черным служители правопорядка, гэбисты и разные агенты внешней и внутренней разведки, диссиденты сомневались, сегодня у них рынок черный, а завтра ничего такой, можно что-нибудь интересенькое и прикупить. Литературы какой, предметов искусства старинных. – По пиву, может? – робко спросил Вячеслав. – А куда наливать-то, банки нет? – погрустнел Рыбкин.

В очереди болтали рабочие, их стальные языки звенели в луженых глотках. – Где ж еще сыскать такую заповедную природу, у нас тут водятся лошади Пржевальского, табунами ходят, туда ходят, сюда ходят, вон, вчера под окнами яблоню мне целиком съели! – расплылся господин с глазами навывкате и редкими белобрсыми волосами. – А европейские рыси, Сережа, даже не говори, – добродушно похохатывал гражданин в бирюзовой панамке с непокорными рыжими бакенбардами. – Само собой, енотовидные собаки, лоси, зубры, бурые медведи, даже выдры, представьте себе, – смеялся как ребенок мужчина, напоминающий Альфреда Хичкока. – Да, конечно, встречаются по-прежнему горячие места, но ведь природа как-то обходилась тысячелетиями без людей, обойдется, ничего ей не будет, а мы, как мышки, прыг в ямку, скок на ветку! – хвалили почти хором родной край рабочие. Женщина молча разливала пиво по чужим банкам. Граждане

занимали места у круглых стоячих столов. Сдували пену, делали первые глотки, охали довольно. На их лицах блуждали улыбки. И жизнь хороша, и жить хорошо. И не имеешь больше власти хранить в себе любовные страсти.

К будке подошел джентльмен сорока лет в вязаном сером свитере, очках в квадратной оправе, из его русой бороды торчала тонкая кисточка для акварели. Он весьма деликатно, ногтем, постукал в окошко. Продавщица пива, прищулив перламутровые глаза, сказала с явным неудовольствием: банку. Коля как посмотрел на этого, так ему грустно за него стало, ну, мямля, истинно мямля. Вот-вот расплатится. – Но ведь я Пьер, известный художник-супрематист, живу вон, в третьем доме на Набережной, живу совершенно один, вы же меня знаете, а знание это сила, во мне этой силы, если бы не мерзавец Вырин, ох, какой гад, ведь знает, что печень у меня увеличена, а все издевается, мозаика, видите ли, не так положена, не хватает крестьянке в глазах огонька! – сетовал на превратности жизни бородатый художник с копной седых волос. – Да хоть трижды Пьер Бурдьё, без своей банки нельзя, пакет, она не банка, не я же придумываю правила, не задерживайте очередь, голубчик! – ворчала тетушка с грандиозными ушами, в уши продавщицы могли поместиться медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке. Впрочем, это уже частности. Мужчины в темно-синих бушлатах обижать человека творческого не желали. Краснощекый, с широким щербатым лицом дяденька заступился: Зинаида Аркадьевна, пакет пакету рознь, вы ему отлейте, а я вам копеечку сверху! Дамочка закатила глаза, веки у нее были фиолетовы, как и отношение к простым потребителям.

– А где эти мужики работают, в столовке, что ли? – спросил Коля. – На «Юпитере», там сейчас восстановили производство, теперь наша страна будет делать собственные процессоры для компьютеров и оперативную память и все остальное, – Бобров явно знал, о чем говорил, улыбка не сходила с его лица. Автобус все не шел и не шел, проехала только зеленая машина с гидрантом, упругая струя воды поливала тротуар. Пахло чем-то приторно сладким. – Как в первые дни поливают, вкуснейшей кукурузной патокой, чтобы радиоактивную пыль не разнести по округе, – сообщил Слава, покачав головой. И продолжил рассказывать, как будто диалог и не заканчивался вовсе: а ты знаешь, что первый отечественный процессор МЦСТ был готов уже к восемьдесят восьмому году, это мы даже не про ЭВМ говорим, которая в семидесятых появилась, – Боброва было не остановить, говорил он увлеченно. – Эй, мальчишки, вам тоже, что ли? – по пояс, точно кашалот из пасти крокодила, высунулась продавщица. Она протягивала два пластиковых стаканчика с пивом. Как раз подошел автобус, подростки залпом осушили стаканы. Заходя в двери желтого школьного ПАЗа-672, крикнули хором: пионерское вам спасибо! В салоне было много дачников с ведрами, удочками, прочим инвентарем. Ребята прошли в конец, уселись на свободные места.

– А у меня третьего дня ныл зуб, ныл так, что казалось, поезд товарный гремит, я его плоскогубцами и вытянула, во, смотри, – хвасталась старуха в голубой ветровке, с розовыми волосами, она развернула платок, а там коренной зуб с пятнами застывшей крови. Из приоткрытой форточки едва доносился прохладный ветерок. Он щекотал макушку Николая, правда, недолго. Да, подумал Коля, чем жарче день, тем сладостней в бору дышать сухим смолистым ароматом. Собеседница бабки с розовыми волосами, дама лет семидесяти, в черно-белом сарафане, с повязанным на шею красным кашемировым платком. – Да, зима, странная она в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом, чего уж говорить, лет десять она странная, то снег на полметра выпадет, то жарится, девчонки юбчонки теребят, в очередь к гинекологу стоят, несчастные, несчастные, – сказала она глубокомысленно. И старухи коллективно замолчали.

Автобус плелся, как ботинок Ахиллеса. В салоне Рыбкин успел прикорнуть. Давнишний немецкий малыш плакал, он хотел пойти на пруд и порисовать птичек-невеличек. Но отец, одутловатый, с неухожеными, в форме лошадиной подковы, усами, запрещал ему. А когда заметил в глазах ребенка первые слезинки, совершенно вышел из себя, снял с мальчишки брюки, перегнул отпрыска через колено и выпорол того хворостинкой. – Мы, сынок, сапожники, репутация, вот

что тебе нужно! – порывивал он мишкой косолапым. А мальчик, стоя у камина в своих желтых пижамных штанишках, опустил голову виновато. – Но быть художником это призвание, – голос мальчишки дрожал, его голос напоминал кисель. Нет чтобы взять кочергу и проучить старого идиота, он пытался вразумить своего папашу. – Ах, призвание, призвание, – мужик в черном пиджаке бросил свою шляпу-котелок на пол, быстро поднялся на второй этаж, вернулся. Мальчик рыдал, умоляя: пожалуйста, не надо, не надо, папочка! И тогда сапожник стал бросать в горящий камин мольберты, тюбики с краской, кисточки, все полыхало, синие, красные вспышки, страшная магия вершилась вокруг. И данное происшествие напоминало ожившие полотна Фрэнсиса Бэкона, все эти ужасные, прекрасные вещи, экспрессивные портреты с размазанными лицами, уродливыми формами. – Все это временно, сынок сапожника, – хотел сказать ему, но вместо этого проснулся Рыбкин. Но перед тем, как проснулся, увидел, как незнакомый младший лейтенант со взглядом бирюзовым и чистым, точно у ребенка, встал пистолет с присосками в собственный рот. И, кажется, нажал на курок.

Мы приехали на конечную, песчаный карьер. Органы безопасности чрезвычайно опасались проводить выставки, ярмарки, концерты в самом городе. Ведь до конца не было понятно, какие области безопасны, а где фонит чудовищным образом и можно пожарить яйцо, которое без тени смущения слопает пятиметровый муравей. Песок под ногами приятно поскрипывал. Десяток темно-синих крабов с белыми крестиками на спинках, смешно перебирая ножками, носились по пляжу. Чуть в стороне, раскинув белые крылья, лежала распотрошенная чайка. Обрывок мутного пластикового пакета прилип к ее крючковидным отросткам ребер. Инсулиновый шприц с оранжевым колпачком лежал рядом с бедняжкой. И Бобров предложил хорошенкое дельце, прогулять сегодняшнюю репетицию к храмам собачьим, к тому же мы существенно опаздывали, что делало нас в глазах прилежных соплеменников и стержневых учителей объедками, дел с которыми не стали бы иметь ни Адам, ни Ева. На многие километры вокруг были разбиты сотни палаток. Брезентовые семейные, зеленватая с прорезиненным дном «Турист», прочие, прочие палатки. Меж тем встречались традиционные уже желтые треугольники со знаком неблагоприятной радиационной обстановки. Граждане, кто в шортах, кто в купальниках, разгуливали по пляжу, закапывались в песок, дурачились. Загорали на крышах своих автомобилей. Попивали боржоми, попивали вино. Кушали консервы. Разводили костры. А потом в костры бросали картошку, обернутую пищевой фольгой. Красота.

К нам подошла дама в круглых желтых очках. Ее волосы напоминали непокорные вересковые заросли, что-то близкое к светло-фиолетовому цвету, словом, великолепные волосы. Пальто, вероятно, сшитое из лисьих шкур. Она беспрестанно облизывала растрескавшиеся бледно-малиновые губы. Два синих баула, стоявшие у ней за спиной, напоминали двух ангелов или двух санитаров. Тягучим голосом она начала: удивление это первое чувство, когда ломаешь хребет лилице, посмотрите, какие чудные накидки, какие чудные шубки я шью! Я посмотрел на Боброва, тот помотал отрицательно головой, дескать, мы пришли не за этим. – А вам со скидкой, по глазам вижу, вы немного, как бы это выразиться, кретин, – сказала дамочка. Она была многогранна, словно грузовик со смешанными отходами. С такими мне не хотелось иметь ничего общего. Жулан чернобровый с коричневыми крылышками прогуливался по крыше красного металлического контейнера. – Мое поколение боялось больше всего помереть под Ржевом, не оповестив родных, – задумчиво изрекла дамочка. – А вообще смерти нет и страха нет и жизни нет и ничего вообще нет, сыночки, – на прощание крикнула она, побежала, нелепо размахивая своими шкурами. И мы поспешили прочь. Миновали высокую гору, подниматься было трудно, песок осыпался, делал шаг, оказывался на три шага позади. Уподоблялся жителям Ленинграда, примерно пяти миллионам человек, вынужденных день за днем набирать в рот воды, чтобы не случилось очередного наводнения.

И вот она, шанхайка. На шанхайке обычно было не протолкнуться, там семечку от яблока негде упасть, что вы. А если все же семечко упадет, и кому-то оно будет нужно, прям жизненно важно, чтобы именно это семечко снова очутилось у него в руках, начнется кое-что пострашнее

Тушинского побоища. В самом центре импровизированного рынка были построены настоящие дома в два, три этажа, напоминающие голубятни. Повсюду слышалась речь, вьетнамцы, узбеки, реже русские, мы с Бобровым качались на волнах гласных, бились о камни согласных. Повсюду стояли прилавки, столики, мелькали пачки банкнот, перетянутые зелеными, красными резинками. Бобров увлек за руку товарища в сторону нескольких синих морских контейнеров, он знал, куда нужно идти. Точно рафинад в чашке горячего чая, таяла надежда продать этот злосчастный дедушкин слуховой аппарат, размышлял Рыбкин. У Славика на продажу была картина, вероятно, подлинник, тем более Анна Ахматова, женщина раскрепощенная, сексуальная, на такое полотно быстро найдется покупатель. Повесит ее над кроватью сладострастник, и будут ему сниться щели, что вырыты в саду, о песнях любовных в дыму, о разном таком эротическом будет сниться новому владельцу. Прошлой осенью, когда двоюродный дедушка по секрету всему семейству сообщил, что он может с помощью взгляда влиять на молекулы тела, ама позвонила в ритуальное агентство и в дом престарелых. Первыми приехали из ритуального агентства. И угадали. Вообще, Николай любил своего дедушку, даже когда он стал голеньким гулять по ночному городу, высматривая порченных гражданок, тех, что изменили своим супругам с военнослужащими из армии Бонапарта. Все желал их взглядом проучить, чтоб на молекулярном уровне, чтоб у них выросли бороды и копыта.

Темно-рыжие волосы Славки были растрепаны, он вертел головой, высматривая дружинников, правильно делал. Припать оставалась режимным городом, это у нас имелась прописка и особый допуск. А сколько сюда каждый год плетется нелегалов, беглых заключенных, шпионов, не счастье. Мальчики проходили мимо парочки граждан в тубетейках, что играли в нарды. – Все это интерпретации, а уж какие мысли нужны человечеству, а какие, что называется, годятся разве для парохода истории или для корабля дураков, любезный, тут не угадаешь, – говорил один из них, сверкая золотым зубом. Другой мелкими глотками пил душистый напиток из голубой пиалы. У зеленого контейнера дежурили родственницы сестер Кривошляповых. Общий таз, четыре ноги, на шанхайке они были главными посредниками в крупных сделках. Мальчишки подошли к сидящим в электрической коляске сестрам. – А вам не туда, – сказала одна из них со вздернутым носом, из которого торчало ровно три волосинки. Надо же, три богатыря, три сестры, магическое число три, отчего не четыре, подумал с каким-то сожалением Николай, подростка несколько расстроило собственное положение на ученическом фронте, в нынешней четверти намечались тройки по математике и физкультуре. – Ну, мы же картину продать, дорогую, – стушевался Бобров. – Картину, какую картину, вы летите! – хором, голосами визгливыми пронзительно закричали сиамские близнецы.

И воцарилась тишина, а следом невообразимый гул, заставивший нервничать зрителей в зале. А потом кто-то закричал: водитель, влево бери, влево! Автобус подбросило, но транспортное средство чудом не сделало полный переворот, рухнув боком. – Живой? – простонал товарищ Бобров. Рыбкин боялся открыть глаза, его очи могли быть острее косы, не хотелось никого порезать ненароком. – Етить, – сказала старуха откуда-то из середины салона, – только титановое бедро поставила! – Ночь, кажется, была поправима, руки травмировались в локтях, великий дар: шевелить ногами; Николай не утратил. А шея крутилась, как юла, бракованная, но юла, сто во семьдесят градусов. Первым опомнился водитель, мужчина с коричневыми припухлыми веками, серебристой порослью на щеках, его джинсовая рубашка насквозь пропиталась потом. Полулежа, он обратился к пассажирам: все живы, я сейчас скорую буду вызывать, а вы пока будьте живы! И стал активно выбираться из автобуса, словно очеловеченный жук, перебирая четырьмя конечностями. – Меня Григорий зовут, – сказал на прощание он, – если спросят, кто водитель, Григорий из пятого таксомоторного!

Смеркалось. Со стороны рынка доносились встревоженные крики, эхо причудливым образом множило слогги: вы как, вык ак, ак, ак, живые, жи вые, вые, вые, держитесь, держит есть, есть! Торговцы переполошились, прочие гражданские, что поверили братьям Стругацким. И поперлись покупать аномальные образования, правда, не учли чрезмерного уровня радиации вещичек.

Испугались в не меньшей степени. Коля отчего-то знал, внутреннее у него ощущение было, нечто иррациональное, что жизнь у него не могла упасть, как зарница или, допустим, как в стакан воды ресница, ни в коем случае не могла. Мальчик помог вылезти Славке, они сидели, прислонясь спинами к перевернутому автобусу, медленно курили. О картине с Анной Андреевной даже не заговаривали, вероятно, умерла от сердечной недостаточности или от собственной гениальности. Сине-красные мотыльки порхали поодаль, но никак не могли сгореть. Сине-красные мотыльки приближались. – А тебе Ахматова вообще как, в плане женском? – усмехнулся Славка, сплюнув на песок алым. – Спроси чего попроще, – хрипло закашлялся товарищ. Метрах в пяти от нас затормозила серая Волга с алым крестом, подняв неописуемое облако пыли, в котором с легкостью потерялись бы диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка, да маленькая собачонка. Во рту хрустел песок, а я, кажется, знал, кто убил Влада Листьева, его убило человеческое равнодушие. То же самое произошло и с Анной Политковской, моей бабушкой и нашей кошкой. И со всеми так произойдет, к превеликому сожалению.

**В пятой главе мы скажем: Ленин, good bye; а потом рассеемся и не сможем остановиться, пока нам не покажут здорового, сытого и довольного жизнью кота**

Пришла зима, так много снега и птицы черные поют, по подоконнику шагают, стучат копытами своими. Ворона оступилась, да полетела вниз, разбившись на осколки. Морозом лужи все сковало, у дома падали детишки. И матерились так, что я, услышав ругань, рассмеялся. Коля пил горячий какао из жестяной кружки, мама варила плов. На кухонном столе лежал свежий номер любимой отцовской газеты. «Кыштымский вестник» называлась газета, название было по меньшей мере странным, однако поэтический текст на последней странице Миши Токарева оказывал благоприятное впечатление на подписчиков газеты, поэтому Токарева оттуда не убирали. Новостные сводки граждане, как правило, читали в интернете. Присутствие в жизни печатной газеты считалось в здоровом обществе неким рудиментарным хвостиком. Единственная, по крайней мере, так думали преданные читатели «Кыштымского вестника», причина выхода печатного номера это отсутствие у Токарева интернета. Мало кто знал в лицо литератора. Найти самиздатские книги Токарева было практически невозможно. Вокруг его фигуры сложился узкий круг читателей, даже главный редактор вестника не мог ответить на вопрос, каким образом единожды в месяц к нему на стол попадает стихотворение Миши. – Я люблю вас больше лирики, феназепамы и триган Д, – вслух причитал новое поэтическое высказывание Рыбкин, цокнув языком, рассмеялся. Еще одна ворона оступилась, да полетела вниз. Рыбкин внимательно стал знакомиться с текстом. Потом, захрустев сухариком с изюмом, почесал голову, волосы отросли чрезмерно, лезли в глаза, надо стричься. Подумал еще какое-то время, вспомнил отчего-то слова одноклассника, который читал хип-хоп: мы уйдем по-английски, а придем на немецком. Рыбкину стало интересно, почему на немецком, почему не на французском, например. Ладно, бог с ним, с французским, немецким, английским. Мальчишка, допив какао, сладко зевнул. Отец Спартак стоял на балконе и курил, сбрасывая пепел в жестяную банку из-под кофе.

Слегка лысоват  
Впрочем, житейское дело,  
У кого континенты сейчас  
Имеют численность выше  
Оттока мигрантов,  
Опрометчиво солидарен  
С афганскими девами,  
Олей Скорлупкиной,  
Русскими пацанами  
Национально большими.

Что я могу рассказать,  
Когда уроженцы души  
Затевают переворот,  
Восстание, захват власти,  
А ты не то что цыпленка зарезать,  
Разделить слово на слоги  
Не в состоянии,  
Ты пацифист до мозжечка своего,  
У тебя в поле травы хороши,  
А на речке камыши.  
И на славянский вопрос  
Я отвечаю на языке JavaScript,  
Ибо вскормлен молочным продуктом  
Электронных овец.  
А иногда забываю,  
Кто жил в моем теле,  
То есть жил в моем теле,  
Что называется, до меня.  
И дверь открывая анфасом,  
И желчно писал жи ши и ча ща,  
Используя мела в объемах,  
Что не содержит феназепам,  
Триган Д, прегабалин  
Вместе взятые.  
Ставил непарные скобки,  
Грамматически и логически,  
Супрематически,  
Теоретически  
Боролся с системой,  
Мыл руки не только перед едой,  
Но после еды,  
Во время еды,  
Агитировал одноклассников  
Готовить из мыла напалм.  
Ведь протест это, прежде всего,  
Аттестат, не полученный в школе.  
И вот я слегка лысоват,  
Сажу в каморке охранника;  
Позови меня с собой,  
Я приду сквозь злые ночи,  
Я отправлюсь за тобой,  
Что бы путь мне не пророчил.  
А пророчить может такое,  
Знали бы вы, господин охранник,  
Опричники всегда виноваты,  
Знали бы вы, господин охранник,  
С каким шелчком  
Взводят наган,  
И сколько шагов коридор  
Бутырского изолятора.

Синяя водолазка, подштанники, шерстяные носки. Градусник за окном показывает минус восемнадцать, совершеннолетие, однако погода не может являться военнообязанной. Николай Рыбкин говорит матери задумчиво: последний день зимы нам выдан для сомнения, уж так ли хороша грядущая весна! – Коленька, весна это время пробуждения духа, – сказала она важно, перемешивая лопаткой куски говядины с рисом. Вдруг обычная столовая ложка, лежащая на кухонном столе, на белой скатерти, медленно завертелась. – Я выдам тебе синий свитер с зеленым узором, там флисовый подклад, – сказала она, моя руки хозяйственным мылом. Папа открыл балконную дверь, и в кухню паром вкатился воздух. – Сынок, ты прочитал новый текст Миши нашего Токарева? – спросил мужчина. Ветер был изрыт вороньими криками. – Прочитал, папочка, мне кажется, у Токарева есть поэтическая чуйка, а в остальном же он весьма посредственный поэт, – ответствовал Коленька. Тихо падал на подоконник снег, окно, покрывшись узорами, могло лопнуть в любой момент. Вдруг мамина кружка с зеленым слоником, висевшая на крючке, нервически затряслась. – Папа, а стекло может разбиться? – спросил наивный Рыбкин. – А чего не может, конечно, может, сынок, – произнес отец, наливая в чайник воды из-под крана. Идти в школу не хотелось категорически. На побеленном потолке вдруг стало расплзаться коричневое пятно, его диаметр был сантиметров тридцать. Домочадцы молча взирали на происшествие, должно быть, минут пять спустя пятно медленно исчезло. – Хм, – сказал глубокомысленно Спартак, почесывая крепкую шею.

– Мам, а где мои ботинки? – из прихожей поинтересовался Рыбкин, он стоял там босиком в верхней одежде, серо-черной куртке с меховым капюшоном. И тут в абсолютной тишине два коричневых зимних ботинка без посторонней помощи, паря на уровне пояса взрослого человека, стали лавировать, нет, лететь в сторону Рыбкина. Пока не топнули перед Николаем, дескать, не извольте беспокоиться. К подобным странностям новоиспеченные жители города-призрака давно привыкли. Вероятно, пророческие письма, составленные печатными буквами, найденные в самых неожиданных местах, воспринимались гражданами как признаки благосклонности наблюдателей. Недавний пример. Когда произошла авария, сберегательная касса, времена неспокойные, все только началось, суета, кто вещи оставляет, у кого автомобили без присмотра под окнами стоят. Кошмарное время, в общем-то. Участковый местный, француз по матери, Огюст Кошкин в числе сотрудников милиции боролся с мародерством, с вывозом зараженных предметов. Вышел на пенсию. Сейчас ему чуть за пятьдесят, дали дом в относительно чистой области, предложили набрать двух-трех сотрудников. Живет, работает. И однажды случай такой, утреннее построение, избушка со служебной комнатой, синим стены выкрашены. И тут сержант замечает бумажку какую-то под тяжеленным столом, вроде листок альбомный, сложенный в несколько раз. А на нем печатными буквами цветными мелками: станция ЖД Янов, вагон пять, перегон такой-то, смотреть под первым сиденьем, или последним, но лучше под первым. Ломанулись туда, выяснилось, что в восемьдесят шестом кто-то государственную кассу ограбил, ни воришек, ни награбленного не нашли. А тут сейф с прогнившим уже замком, пнесь, откроется. Внутри слитков на тридцать килограмм золота, пятьсот восемьдесят третья проба, все как полагается. Милиционеры сказали в голос: барабашка, а иначе не объяснишь, а иначе квантовое безумие какое-то, иначе буквы из книги смешать можно заново.

– Милый, говорят, библиотеку восстановили, схожу сегодня, посмотрю, как там, чего, вчера Ленка, Елена Петровна обещала устроить меня библиотекарем, – поцеловав супруга, проворковала Аврора. – Сходи, сходи, – услышал Рыбкин, выходя в подъезд. На улице щеку Коли полоснуло ледышкой, порез моментально начало саднить. Неминуемо мальчик вообразил себя пилотом Як-3, попавшим под шквальный огонь вражеских зениток. Морда самолета, выкрашенная в хищный красный цвет, изображала пасть акулы. Мелкие осколки стекла посекли лицо. Но Рыбкин и не думал менять курс, он летел прямоком на склад боеприпасов, желая пожертвовать если не бабушке десять рублей, то, по крайней мере, собственной жизнью во имя спасения собственных пехотных войск. Приятно хрустел снежок, ботинки, подаренные папой на Рождество, были пропитаны ка-

ким-то специальным кремом, водоотталкивающим. Кожаный гладкий портфель напоминал космический корабль, если у вас была фантазия как у Гарри Гаррисона, конечно же.

Николай шел по площади Ленина, лицо Ленина было несколько искажено, вождь как будто силился произнести артикль the. Получалось у него так себе, излишне карикатурно, что ли. Все дети переселенцев теперь учились здесь. Голубоватый фасад подсвечивали километры гирлянды, казалось, звездный эсминец, а не дворец культуры «Энергетик». Да, отреставрировали его виртуозно, подобным образом Хиросиму и Нагасаки, города-побратимы, привели в божеский вид меньше чем за сто лет, а там все-таки капиталистические бомбы, у них принцип действия особый. По лыжне шли три человека в синих комбинезонах, они приветливо помахали палками, Рыбкин приветливо произнес артикль the. Поднимаясь по мраморным ступенькам, обитым специальным резиновым полотном, чтоб не расшибить себе башку невзначай. Он столкнулся с двухметровым, вообще-то, его рост был два метра пятнадцать сантиметров, столкнулся он с шестиклассником Колей, тезкой. Пальто на тезку шили в ателье на заказ, учебники и тетрадки он носил в сумке-дипломате, а в качестве головного убора отдавал предпочтение фетровой песочной шляпе, привезенной из-за границы отцом-боксером. В отличие от отца тезке Николаю хотелось стать пловцом. И в связи с этим он частенько ходил на занятия в бассейн Лазурный.

В школьном гардеробе пахло гуталином, мандариновыми кожурками, кипарисовой туалетной водой да разгоряченными телами подростков. Дети толклись, вешали тулупы, пальто, шубы на большущие синие крючки, похожие на крючки, что встречались на скотобойнях. – Через день или через дальше настанет момент, когда придется нам с тобой идти в училище, может быть даже в армию, как ты думаешь, у нас есть шансы пожениться, родить ребенка, взять ипотеку, дожить до пенсии, я не говорю умереть в один день, мужчины сейчас живут меньше женщины? – занудствовал худощавый, кудрявый мальчишка с бабым голосом. Дужка его очков в роговой оправе была перемотана синей изолянткой. На кармашке вельветовой сизой рубашки был значок шестьдесят второго года, значок назывался: спутник. Девчонка поспешно вышла в коридор, надоеда поплелся за ней. Николай степенно повесил свою серо-черную куртку с меховым капюшоном у окна. Было непреодолимое желание, пока никто не видит, снять подштанники, однако в раздевалку стали заходить прочие ребята. Рыбкин застеснялся.

– И вот у него под ковриком лежал ключ от квартиры, и вот он достает этот ключ, а тот не подходит, в замок входит, но проворачивается как-то не так, а когда дверь все-таки ему удалось открыть, выяснилось, что это ключ от другой вселенной, – рассказывал упитанный малыш в зимних остроносых ботинках, черной жилетке, застегнутой на две пуговицы, и синей рубашке с коротким рукавом. Он разматывал с шеи темно-оранжевый с красными узорами шарф, попутно делясь с кем-то новостями. Не дожидаясь вопросов, продолжил: и все там такое же, как в нашей вселенной, но люди разговаривают по-странному, вроде буквы те же, но порядок может отличаться, допустим, по результатам илссоеваний. Малыш расплывается, он давно переделся, но ему важно было дорассказать о различиях вселенных: а самое чудное, мальчик заметил, что номера квартир тоже изменились! – Так, Кровниаад Асимк, не пудри мозги учителю, – строго произнесла химичка, и они покинули гардероб с этим упитанным карапузом.

Вдруг Коля услышал девчачий голос, то был не голос, электрический репродуктор, что обычно висит на столбе у дома и о чем-нибудь оповещает, к примеру: сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынский аэродром. является сплошной ложью и провокацией. Воспоминания о дружбе со старшеклассницей Лизаветой, вошедшей ныне в школьные двери, были не очень хорошими. Впервые услышав ее речь, Николай подумал о начале гражданской тревоги, незнакомка спросила шуточно мальчишка: а что это у нас тут за централизованный объект не заполнен, когда объявили воздушную тревогу? Позже она предложила распить ему половину литра бальзама, настоящего на двадцати одной траве, перед распитием девочка вручила зачем-то горсть зеленых таблеток. – Что это? – спросил наивный Рыбкин. – А, это средства защиты населения при химическом отравлении, – пояснила девочка-гражданская тревога. Ее объяснение показалось мальчику отчего-то логичным, и время беспокойное, подумал он.



И сделал крупный глоток. Благополучно потерявшись на целых два дня из этой временной эпохи. Сильно заплаканная мать и в меру заплаканный отец носились по всему городу, повышая уровень воды, столько слез выплакали, кошмар. Им говорили в милиции: сидите дома, ждите, ищем, найдем, вы носитесь, плачете, а общий уровень воды на пять сантиметров уже вырос, утонет же город, как Ленинград в тысяча восемьсот двадцать четвертом году! Нашли, слава богу. Но с Лизой теперь не разрешалось иметь ничего общего, ни любви, ни партийных дел, ни прикормленного на чердаке втайне от всех воробушка.

По школьному коридору бежал дух разваренных макарон, сосисок, ананасового компота, поэтому Николай, всецело влекомый данным происшествием, не мог воспротивиться зову и понесся в столовую. У самых умывальников, где толпилась ребятня, брызгаясь пенной водой, толкаясь, но не как диссиденты, аккуратно локтями, а со всей силы. Пришло некое озарение. Вдруг померещились алые губы отдельно от всего остального лица, Рыбкин достал из кармана брюк блокнотик, быстро записал, куда по обыкновению вписывал поэтические озарения, всякие разные наблюдения, спорные мысли. Блокнот в кожаном переплете был вещичкой любопытной, найденной на песчаном плато, куда их класс выбирался на костер, плато как раз обеззаразили к тому времени. Ах, с полутора миллирентгена удалось опуститься до приемлемых пятидесяти микрорентген. Николай обнаружил этот предмет, имеющийся у каждого уважающего себя писателя, в старой собачьей будки. У блокнота была такая особенность, когда в него что-то записывалось, он начинал нагреваться, примерно как батарея зимой, и тут же остывал.

Перед столовой Рыбкин забежал в клозет. На стене, прямо на кафельной плитке, какой-то остряк вывел черным фломастером: до чего же много на свете кошек, нам с тобой их не съест никогда! А на подоконнике карандашом кто-то нацарапал: философия – служанка богословия. Вот в пятницу будем отгирать на генеральной уборке, подумалось грустно. Коля набрал полный рот хлорированной воды, прополоскав, сплюнул. Из туалетной кабинки веяло застоявшейся мочой. За батареей Николай нашел подозрительный тетрадный листок, листок мог быть вовсе и не подозрительным. А вполне заурядное послание могло быть, вроде: тебе одной, одной тебе, любви и счастья царицы, тебе, прекрасной, молодой, всей жизни лучшие страницы! Тем не менее, обычный тетрадный листок, на таких пишут по обыкновению: согласно пятьдесят первой статье я не буду свидетельствовать против себя. Или же пишут: прошу госпитализировать меня по собственному желанию, чувствую, что голоса, бытующие в моей голове, способны поспособствовать плохим поступкам, которые я совершу, если не буду принимать предписанное мне лечение. Ничего подобного. Почерком округлым, аккуратным указан год, год указан не наш, две тысячи седьмой, а у нас он, конечно, не такой, у нас две тысячи двадцать пятый. Изложены следующие тезисы: потомкам, январь две тысячи семь, хлеб десять рублей, картошка тринадцать рублей, яйца двадцать восемь рублей, молоко восемнадцать рублей, сыр сто шестьдесят рублей, гречка двадцать рублей, водка восемьдесят рублей, сахар двадцать рублей, пиво тридцать рублей, сигареты двадцать один рубль, жилищно-коммунальные услуги две тысячи рублей. Коля пописал и сдернул воду.

Внезапно в туалет забежал лопухий мальчишка в красном джемпере и синих брюках. Предвестивший появление хулигана своими жалобными: ой-ой-ой. Какое любопытное слово – предвестивший, найденное нами в словаре Даля, значение, думаю, понятно. Парнишка шелкнул шпингалетом. И стал отступать к подоконнику. Дверь одиножды дернули, на второй раз шпингалет не выдержал. Вошел рослый подросток в коричневом пиджаке. Ничтоже сумняшеся схватил за шею мальчишка с белобрысыми волосами лет десяти. И стал доводить его до слез, спрашивая: хочешь ли тебе дойти во всем до самой сути, а? – Я не знаю, – хныкал лопухий школьник, оскорбленный до глубины души. – Но в работе-то, в сердечной смуте хотел бы ты дойти до самой сути? – кричал на него старшекласник. Бедный карапуз, прикрыв руками лицо, всхлипывал: наверное. – Наверное, а вот до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, в конце-то концов? – трясся от негодования изверг. – А сколько тебе лет, знакомы ли тебе свойства страсти? – смягчился он. – Десять лет мне, десять, – сказал мальчишка с веснушками, сказал с каким-то даже вызовом. – Да чтоб ты знал, я в твоём возрасте все время схватывал нить судеб, событий,

жил, думал, чувствовал, свершал открытия! – покрасневший хулиган тяжело дышал, видно, он и впрямь схватывал нить чужих судеб и событий, а это очень тяжело. В туалет вошла завуч, за ее спиной, словно два крыла или два санитара в халатах синих дежурные. Любителю Пастернака что-то вкололи, он быстро обмяк, потом один из дежурных закинул его к себе на плечо и вся честная компания удалилась.

В коридоре повстречался Славка Бобров. Товарищ был удачливым человеком, ему всегда удавалось прошмыгнуть в школу без сменной обуви. – Слава, – восклицала дежурная, старшеклассница со свекольным лицом, величественной прической каскад, россыпью родинок на левой щеке, – где твоя сменная обувь, ляблия! – На проходной толпились школьники в синих пиджачках, на лацканах которых красовались металлические значки: серп и молот, красные звезды, всевозможные Ленины, анархия, синий автомобиль, значок отличника социалистического соревнования министерства промышленности. Всеобъемлющую грудь дежурной Нади не могли удержать никакие вещи, каштановый бюстгальтер готов был лопнуть в любой момент, а все мы, ученики одной-единственной припятской школы, рисковали пасть смертью храбрых, захлебнувшись грудным молоком, Надежда была беременна от педагога по военной подготовке, по слухам, конечно же. Шрапнель из булавок, пуговиц посекала бы наши лица, не нужные на этой парадоксальной планете никому, разве что нашим папам и матерям. – Надежда, понимаете, какое дело, – говорил подбострастно своими коралловыми губами Славочка, – в следующем году я обязательно женюсь на вас, а также удочерю вашего сына, а пока в качестве скромного знака моей преданности вам, вот. Он протягивая ей большущий апельсин, нечастый гость в наших широтах. Его бабушка-агроном научилась выращивать цитрусовые на чердаке при помощи овечьих плацент, генератора, что работал на урановом стержне, и каких-то особых удобрений.

На завтрак друзья отправились вместе, и каждый из них мог сказать другому: во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах нашей родины, ты один мне поддержка и опора, словно великий русский язык. И наш совместный крестовый поход на завтрак есть проявление дружбы, потому как на завтрак с кем попало не ходят. – О, а это мне, мое же! – бестактно забрал пакетик с вишневой питательной смесью Моне у кого-то. На Моне была ворсистая голубая рубашка, черные брюки, белые кеды. Лицо у него было симпатичное. Выбритье до синевы щеки. Буйные пепельные волосы. Длинные жилистые руки. Крепкая грудь колесом. Долговязый. Нравом обладал северным, диким, семьёй приехала из Норильска. На уроках физкультуры набивал кулаки, бил по сосне. От ударов ссыпались ветки, млели девчонки. Любил руководить, его даже хотели поставить бригадиром чего-нибудь, однако возраст не подошел. – Отдай, это по талону для малоимущих! – закричал чернявенький, хрупкий, как елочная игрушка, пацан. И друзья, не сговариваясь, выхватив пакетик с вишневой питательной смесью, вернули неимущему. И вытолкали Монию в коридор, а потом затолкали в туалет. И воспитывали бесстыдника оплеухами. Чтоб осознал Моне, какой бы ни была юность, даже самый страшный человек может вести нормальный образ жизни и перестать быть варваром. Склонившись над Монею, у которого был разбит нос, Бобров невозмутимо сказал: возможно, ты полагаешь, что мы спустились на белый свет не для того, чтобы общаться с Богом, но Бог, он вот здесь! – ткнул пальцем в грудь Мони Славик. – Когда будут расцветать яблоны и груши, когда будут плыть туманы над рекой, тот несчастный, которому ты вернул покушать, вспомнит добрым словом, а тебе и легче станет, – рассуждая, сказал Николай. Бобров поддакнул, кивнув головой.

Покинув уборную комнату, или, как говаривают при дворе герцога Ангулемского Людовика, представителя старшей линии французских Бурбонов, сортир. Рыбкин предположительно шел в класс, новенькой светло-желтоватый кленовый паркет приятно поскрипывал. На подоконнике, герметично примыкающем к оконному блоку, а также имеющем прогиб не более двух миллиметров на один метр длины. В белой длинной вазе с голубыми причудливыми узорами, в вазе бежевой и широкой, расписанной желтыми и красными цветами, вазе, имеющей, соответственно, название «Полевые цветы», ко всему прочему, в пузатой красной вазе с изображением пчелок, а также в вазе Ленинградского завода художественного стекла, выполненной в форме подковы. Ах,

да, еще в вазе «Летающие утки» Дулёвского фарфорового завода. Росли восхитительные голосистые цветы. Имеющие поразительное сходство с целозией серебристой. Растения с массивными бархатистыми соцветиями. Что временами, преимущественно в ночные часы, начинали ни с того ни с сего петь. Нередко композиции вызывали чувство какой-то, знаете ли, ностальгии, цветы исполняли преимущественно Ирину Салтыкову, Ирину Аллегрову, Алену Апинову, Аиду Ведищеву, Майю Кристалинскую. Именно по этой причине сторожа так часто менялись, примерно дважды в месяц, как начнут рыдать, так не остановишь. Уборщица, прикрывшись ветошью технического халата, ибо временный недостаток бюджета, пожурела Николая, что шел мимо подоконника: только попробуй оборвать, я тебе сама руки пообрываю! Пристыженный Николай, опустив голову, воспоследовал в класс.

По волею судеб вместе с Рыбкиным в класс вошел новый молодой и крайне привлекательный учитель. И тысячи ревнивых взглядов Малышек, Толстухек, Голубых кошек, Царь-бомб и прочих взрывоопасных школьниц, способных сотворить из класса настоящий полигон для ядерных испытаний: уставились на него. Гормоны, ох, сколько гормонов бушует в этих маленьких леди, вот бы человечество придумало аппарат, где в качестве тяговой силы выступают подростковые гормоны, подумал Рыбкин. Человек государя нашего директора имел ястребиный нос, выдающиеся скулы, волевой подбородок, слегка заостренные уши, пышные пепельные волосы с ярко выраженным пробором на правую сторону. Шерстяной темно-оранжевый костюм, похожий на шкуру верблюда. – Дети, будем с вами делать спектакль! – с порога возвестил он голосом бархатным, словно пиво. Видно, не склонен к антимионии, говорит по делу, говорит как человек, у которого перегорела одна только лампочка, а не сердце. Иронично подумал наш Рыбкин, пересев на всякий случай со второй парты на третью. Несколько позже выяснится, что гражданин выдает себя за красивого молодого учителя, потому как ни в чем другом не преуспел. Однако не будем забегать вперед. Ибо получится, точно в той печальной истории, где мальчик пригласил девочку в кино после уроков, а та поступила в университет, затем устроилась на работу, родила сына. И к тридцати с ужасом осознала: запойный, задиристый мужчина это печально, пожалуй, печальней судьбы Николая Заболоцкого или Даниила Хармса.

Создавалось, пусть и субъективное, ощущение, новый учитель был не из тех, кто, видя запятнанное одиночеством задание в тетради, заставит переписывать тетрадь целиком. Он сидел с важным видом, как Пугачев на картине Василия Перова. И записывал фамилии учеников, а также их типы: актеры-трагики, драматические актеры, характерные роли, актеры-комики. – Работы предстоит много, успех для человека искусства это всего лишь отстроченный провал, – сказал напыщенно, – но что-нибудь с вами сообразим. После этих глазированных слов мужчина махнул своей роскошной гривой и направился на выход. Какая-то девочка, от которой постоянно пахло луком, успела задать ему вопрос: а как вас зовут, мы должны знать, это же важно? – Василий Александрович Швейк, – был нам ответ. Дети, снедаемые хохотом, повалились со своих мест, до чего чванливый им попался учитель драматического творчества. Продолжая галдеть, ребята шли по коридорам школы. И обсуждали, что Шекспир бы накостылял данному Василию Александровичу Швейку. Кристина Баранова в розовом полушубке, белых сапожках высказала предположение: один из лейтмотивов творчества Шекспира – идея о том, что вся вселенная устроена как театр, считается, что театр это игрушка, которую выдумал Господь, чтобы ему не было скучно жить.

– О, глядите, детки, полетел, полетел! – тыча желтым заскорузлым пальцем в небо, сказал сторож. Школьники подняли головы. – Неопознанный летающий объект, ты зачем летаешь неопознан, над народом без того нервозным по причине скверных сигарет! – прокомментировал гражданин. И мелко затрясся, посмеиваясь. Прошамкал чего-то, застегнул свой синий бушлат, повертел в руках армейский ремень с красной звездой. Вероятно, то были последние денечки его службы, поющие цветы совершенно доконали человека. Мы, не отводя глаз, следили за передвижениями красного искрящегося шара у самой крыши ДК. – А давай камнем в него кинем! – предложил дебильный Бобров. – А ты кинь, я потом твои останки в мешочке родителям принесу, – сказал сообразительный Коля. Объект, покругившись некоторое время по параболе, куда-то

скрылся. Мы вышли в зеленые металлические ворота дома культуры Энергетик, погруженные каждый в свои мысли. – Я такой же видел, только зеленый шар в садике Золотая рыбка, он вокруг моей головы полетал, а потом я стал слышать радиостанции разные без приемника, – делился воспоминаниями какой-то малыш. Рыбкин в одиночестве возвращался домой, а снег все шел и шел. Из горшка на первом этаже чужой квартиры герань тянулась к этим белым звездочкам, кружащимся за окном. На перекрестке горел, раскачиваясь, подвесной фонарь.

Перед самой библиотекой экскаваторы, асфальтоукладчики, кран, малярные подмости, все фырчит, аукает, квакает, пищит в недрах строительного леса. – Скажите, пожалуйста, там полы уже нормальные, ходить можно? – спросила рабочего Аврора, на ней было длинное коричневое пальто, подпоясанное узким голубоватым поясом. Рабочий низким голосом ей ответил, ходить можно, ходите, пожалуйста. И шлем свой бирюзовый этак приподнял в знак почтения. – А подвал, в подвале-то ходить можно? – Аврора скептически оглядела двухэтажное стеклянное здание, на стеллажах можно было разглядеть цветные корешки, по периметру зала были развешены оранжевые и зеленые круглые люстры-ананасы. Аврора Евгеньевна размышляла, стоит ли сегодня заходить в самую библиотеку, встреча с директором и первый рабочий день были назначены все-таки на завтрашнее утро. Однако женщина, терзаемая желанием поскорее осмотреть новое место службы, решила спросить рабочего, гражданина атлетичного, с длинными узловатыми пальцами. – Вы позволите мне в порядке исключения заглянуть, на подвал, например, посмотреть, говорят, в подвале какие-то неполадки? – спросила она заискивающе. Мужчина понимающе улыбнулся: да, с подвалом у нас беда, единственное место, с которым еще не решили, что делать, вроде не холодно, влаги нет, подвал и подвал, но, как это говорят, эстетически чуждо, что ли.

Подвал и в самом деле напоминал эпоксидное море, глядя на него, хотелось отчего-то сказать: время есть на вас; свой час для беседы, свой час для покоя. За многометровой толщей льда угадывались как бы порхающие книги, «Тихий Дон», «Хождение по мукам», «Гиперболоид инженера Гарина»; такие бабочки-беллетристы. Остановившиеся навсегда, книжки навевали грустные мысли. За библиотекарским столом сидел щуплый мужчина семидесяти лет, седая борода, круглые очки, ежик волос. Тысячи карточек с именами, фамилиями, адресами, магическими заклинаниями лежали вокруг него, парили вокруг него. На серой подставке, на коих обычно указывают инициалы работника, значилось Л.С.Р. – А что же вы человека не вытащили, не по-христиански как-то? – спросила в ужасе Аврора Евгеньевна, сидя на корточках в своих демисезонных зеленых сапожках, она всматривалась в пучины эпоксидного моря и недоумевала. – Так отказался, сказал, что умрет вместе с библиотекой, это главный хранитель, а на карточках он какие-то свои стихи записывал, представляете, – печально вздохнув, ответил рабочий. – А вы сами пишете что-то такое, художественное? – спросил внезапно гражданин. – Пишу, дневник бабочки, размышляющей о душе цветка, называется, – многозначительно взглянула женщина в глаза рабочего, отчего тот как-то стусеивался. Сказав неловко: ну, осмотрели, стало быть, давайте теперь на воздух выйдем, а то жутко здесь.

## **Глава шестая, в ней будет присутствовать школьная постановка, омраченная некоторыми событиями из первой главы**

– Однажды мы приняли по таблетке тарена, нашли в старой аптечке у дяди одного пацана, и в запасе у нас было примерно минут пять для того, чтобы добежать до школы и написать сочинение, в ином случае нас бы атаковали танки, которые замаскировались под летучих мышей, – хвастался Бобров, пока они скользили по коридору к актовому залу. Мокрый, намытый пол разил хлоркой и лавандовым очистителем жира. – Успели, я написал только: бюлюбюль летит сегодня низко, значит, в наш век есть шанс встретить иные цивилизации. Наш учитель русского на полставки, он же учитель биологии на полной ставке, Петр Иванович Беляев опоздал в тот день, молча сел за учительский стол, даже шапку-пирожок свою новую не снял, очки запотевшие, борода растрепалась, смущенный такой в окно смотрит. Мы его спрашиваем, Петр Иванович, Петр Иванович,

давайте придерживаться протокола, делайте из нас личностей, а не только передавайте знания. – И что же он? – спросил Коля, оскальзываясь у туалета. Бобров рассказывает дальше: идет он мимо кафе «Олимпия» на занятия, а тогда еще «Олимпию» не восстановили, как ты помнишь, мы грешным делом подумали, мог ли он одичать в домашних условиях, Беляев этот. Ребята подошли к актовому залу, двойные, выкрашенные в цвет крем-брюле двери украшали хвойные веточки.

– Вот-вот, сначала школьники боролись с произволом, а потом стали деканами, а уследить за изменениями уже не позволяет изменившаяся структура мозга, – говорила завуч, тетка с низким гипнотическим голосом, с короткими рыжими волосами, индюшачьей шеей, обвешанная золотыми перстнями, цепочками. Завуч вел за руку заплаканного Фридриха Юлиановича с импозантным пузиком, как у баснописца Ивана Крылова или сочинителя «Мадам Бовари», Флобера, отца Хомяковой. – А потом вырастают Вольки, которые верят Хоттабычу, а объяснить, что Хоттабычу по законодательству за похищение несовершеннолетнего положена высшая мера, кто будет, родители должны все это рассказывать, – распиналась женщина. Фридрих охал, держась за сердце: да, я же, мы же всегда ей говорили. – Ну-ну, пойдете в учительскую, сейчас милиция приедет, мы составим заявление, чай с ромашками попьем, у нас, знаете, торт наполеон есть, – школьный чиновник смягчил тон, увлекая Юлиановича к лестнице.

– Ну, заходим, – кивнув на дверь актового зала, сказал Славка. Рыбкин придержал его за руку: погоди, так что там было с Беляевым, шел он мимо этой «Олимпии» старой. – Говорит, что услышал музыкальный автомат, какой-то Юрий Антонов о юности, которая зачем-то уходит, заглянул в разбитое окно, а там официанты с подносами. Парочки за столиками, все красиво прикинуто, блестящие, набриолиненные волосы, костюмы-тройки. Вино разливают по фужерам, дамочки смеются заливысто. Через весь зал два официанта запеченного поросенка несут. И все будто нормально, хотя ты помнишь, тогда там развалины сплошные были, даже крыша провалилась. И наш Петр Иванович ловит на себе взгляд какого-то своего друга, тот ему улыбается, подзывает. А Беляев, как он рассказывал нам потом, когда выпил два пузырька валерьянки и половину термоса чая, рассказывал, что друг несколько лет назад на севере того, лавиной человека засыпало, а тело не нашли. И чувствует учитель внутренне, не надо ему сейчас туда идти, а ноги непроизвольно идут. И вот он в двери вошел, к нему официантка, не знаю, блондиночка, брюнеточка, обратилась: вам подавать сразу дичь или вы желаете что-то выпить? Петр Иванович в лицо официантке взгляделся, а у нее левая сторона как бы перекошена, то есть блондиночка, брюнеточка это всегда хорошо, однако здесь странность такого масштаба. И смотрит не моргая, точно глаза у нее стеклянные, красивые, зеленые, но стеклянные. Беляев слышит уже друга: Петя, ты чего, давай к нам, тебя все наши заждались уже! Словом, почувствовал что-то неладное наш учитель и усилием воли, помнишь, мы техники гипноза на классном часе проходили. Вот и он такое провернул, сначала шагок сделал назад, потом два и вышел из Олимпии. А там и до школы добежал, правда, не помнит как.

Мальчишки вошли в актовый зал. Девчонки крутились у зеркала во всю стену. На длинных скамейках лежала мишура, стоял музыкальный центр на сцене. – А давайте хип-хоп будем слушать, под него легче всего чем-то заниматься и вообще! – кричала как полоумная девочка Зина с алопечией. Она ничуть не стеснялась, наоборот, говорила, Бритни Спирс так ходит. А мне, когда исполнится восемнадцать, я поеду на «Фабрику звезд» и тоже стану певицей, не унывала никогда Зинаида. – Ты поедешь на фабрику хрустала в Гусь-Хрустальный, там как раз нужны молодые специалисты, – уведомлял ее сторож, посмеиваясь в густые усы. – Начинается, сначала этот ваш хип-хоп, затем какому-нибудь идиоту взбредет в голову запустить ракету земля-воздух, и будем потом в каменном веке без телевизора и новостей сидеть! – парировала вернувшаяся после выяснений отношений с Фридрихом Юлиановичем завуч. В дверь аккуратно постучали два раза, как будто костяшками пальцев. На пороге возник милиционер, он, прокашлявшись, сказал: Антонина Ивановна, там у вашего родителя с его, так скажем, сердцем неладно. – Боже ж ты мой, – запричитала Антонина Ивановна и удалилась. Ее место занял Василий Александрович, лицо его, крючконосое и губастое, было смурным. Он смотрел на нас как канадский охотник на стаю зебр, однако

как бы такому самонадеянному парню не ошибиться, подумал я. Ведь даже белая полоса могла оказаться для него роковой. Вы что-нибудь слышали об одном из самых ядовитых веществ, белом фосфоре, почитайте на досуге. Я к тому, что наш новый драматург рисковал просто находиться рядом с нами. Мы были необычайно здоровыми детьми, даже старшкласники не хотели с нами связываться, знаете ли.

Швейк с порога стал неволивать свою актерскую труппу: балзамируйтесь гримом поскорее, ребята, сейчас все на грим, все на грим! Он согнал нас, человек десять, в маленькую комнатку-гримерку за сценой. – Театр не любит ждать, у театра график, вы что-нибудь слышали о том, что раньше представление шло неделю, неделю! – покрикивал педагог. Мы сидели каждый у своего зеркала и совершенно не знали, какая постановка нас ожидает, но были приятно взволнованы. По крайней мере, нам с Бобровым безмерно импонировали телеспектакли. Вспомните «Мэри Поппинс» и обворожительную Галину Кремневу, а чего стоит «Мистер Твистер», поставленный по одноименной повести в стихах Маршака. В предвкушении мы крутились у зеркал. А Василий Александрович фыркал и постоянно чихал, копошась в шкафу исполинских размеров, оставленном, должно быть, еще до аварии. Наконец несдержанный Швейк принялся бросать на пол невероятно чудовищные, пыльные одеяла, одно, второе, третье. Серые толстые одеяла. Бежевые шортики, водолазка, ушки зайчика, черную мохнатую жилетку, маску волка. При этом Швейк приговаривал недовольно: надо же, кто бы мог подумать, в лесу, значит, родилась, значит, елочка! Темно-желтое солнце, судя по тому, как оно рухнуло на паркет, деревянное. И напоследок нам была явлена несуразная резиновая голова лошади с рыжей спутанной гривой. – А топор, елочку же срубили? – спросила не искушенная в театральных вопросах Кристина. И тут же добавила: можно я буду елочкой, у меня зеленое платье красивое, красивое! Баранова тараторила и тараторила: а к нему можно приделать веточки, можно я буду елочкой? Василий Александрович замолчал и покраснел. И этот Чайник Александрович, мелко трясясь, глядел налитыми кровью глазами, как совершеннейший остолоп, на имеющийся в наличии реквизит.

Я сказал Славке: в лесу родилась елочка, главное не содержание, но форма, вы же помните, коллега. Товарищ с готовностью закивал головой. Мужчина вызвался сходить за топором, а во время его хождений по мукам предложил выбрать нам роли. Шорты и водолазка на меня налезли с превеликим трудом, уши зайца не налезли вовсе. И стал я напоминать детдомовца, в самом деле.

– Так, почему еще гул не затих и никто не вышел на подмостки! – нервничал драматург с короткой лопатой. – А где топор, почему несоответствие? – спросил Бобров. Швейк бросил лопату на пол, закричав: не доверили, сказали, убьете друг друга! Мы разбрелись по сцене. Кристина открыла окно, сорвала несколько веточек с ближайшей сосны. – Вам что, не доверили простой топор, взрослому человеку не доверили топор для тушения пожара? – спросил обескураженно Рыбкин. – Что это за самодеятельность, – неистовствовал учитель. А затем стал бормотать себе под нос что-то непонятное: ты вырываешь у нее признание в любви, как золотые коронки, да, как золотые коронки. Моня в маске лошади сидел в углу сцены, он крепко задумался над своим поведением.

Внезапно в актывый зал вошла румяная медсестра, Клавдия Альбертовна Чума. Дамочка пятидесяти лет с величавым голосом, вечно пребывающая под воздействием успокоительных средств. – Вы еще кто такая? – проявил бестактность по отношению к врачу, да и просто к женщине, драматург. Клавдия меланхолично улыбнулась, поинтересовавшись: молодой человек, лишенный офицерского диплома, имеющий честь разговаривать подобным дивным тоном с замужней барышней, с какой это стати вообще? Василий Александрович нервно забежал по сцене, приговаривая: что происходит, я спрашиваю, по какому праву вы нарушаете нам репетицию? – Да, Клавдия Альбертовна, я вообще-то елочка, у меня главная роль! – деланно разобиделась Баранова. – Ах, елочка, сколько подобных елочек такие вот Бертольды Брехты, и это на моей памяти, использовали в собственных корыстных интересах, а потом сдали по пять рублей кустик на второсортный детский утренник, – Чума очень нравилась нам с Бобровым. – Ну, Клавдия Альбертовна, может быть, это мой шанс пробиться во МХАТ, на большую сцену, – наивная Кристина не желала отка-

зываются от своей мечты, даже имея представления о последствиях. Клавдия забросила в рот две желтые пилюли, не запивая проглотила. Произнесла: милая моя, первый встреченный вами Иоанн без всякого зазрения совести побреет вам голову во имя искусства, после чего перешагнет чрез ваше обесточенное тело и пойдет за пивом в ближайший ларек!

– Скажите, чего вы хотите, пожалуйста, скажите, что вам нужно? – на мгновение показалось, что Швейк сейчас разрыдается как паршивая девчонка, которой мама не разрешает курить. По итогам собрания было постановлено, медсестра забрала на плановую диспансеризацию всех, кроме Рыбкина, Боброва, Барановой и Мони. Драматург не отстоял свою труппу, потерял авторитет актеров, разве что Кристина пребывала в хорошем расположении духа. На сцене были расстелены одеяла в несколько слоев, изображающие сугробы. И при большом желании, если выйти в коридор и прищурить глаза, то как ни прищуривай глаза, выглядели декорации весьма паршиво. В центре сядла Кристина, она беспрестанно повторяла: смотрите все, я сияю, я сияю! В зеленом платье, с торчащими из него еловыми веточками, Баранова шла к своей цели. – Баранова, почему не по тексту, в лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была, – бубнил Василий Александрович. – Василий Александрович, вы ничего не понимаете, я сияю! – шла к своей цели Кристина. Рыбкин-заяц с отсутствующими ушками и Бобров, чихающий от пыльной волчьей маски. Мальчишки смеялись сквозь слезы. Пока не послышались слезы вовсе не игрушечные. Моня в маске лошадки, все это время сидящий в уголке, ревел что крокодил. Мы в недоумении взглянули на подобное происшествие. – Моня, ты хотел быть елочкой, я все правильно понимаю, у тебя потребность самовыражаться? – нес околесицу Швейк. Учитель подошел к хулигану, дотронулся до его плеча. – Нет, я просто не могу забыть того ребенка, у которого сегодня отнял еду, – сказал Моня и зарыдал еще громче. – Цирк, все, я увольняюсь, что, что, что, что происходит! – возопил драматург и выбежал из актового зала. – Вы мне все испортили, теперь я не стану Софи Лорен или Катрин Денев, – захныкала девчонка. Нам же, простым работникам искусства, оставалось лишь разойтись по делам своим будничным. Бобров, допустим, решил воспоследовать в столовую и попросить пропущенный ужин.

Николай с Кристиной нечаянно целовались за актовым залом. Ведь героини испанских преданий умирали, любя, без укоров, без слез, без рыданий. В случае же с Барановой рыдания имели место, поэтому Рыбкин, знающий не понаслышке о доблестях, о нежности, о славе, смог своевременно утешить начинающую актрису. И где-то за окном еретик не тот, кто горел на костре, но тот, что зажигал костер, кричал: любите и будьте любимы, сорванцы! И сыпал снег над лачугами и дворцами, бассейнами, поликлиниками, хрущевками, детскими садами, военкоматами и дурдомами. Коля подумал, оставила ли буфетчица им порции, очень хотелось поужинать с прекрасной дамой. И еще он подумал о грядущих каникулах, время тут шло причудливым образом. Зима могла быть столь близка с летом, сколь могут быть близки буква Б и Р. Не то, чтобы близки настолько, сразу за Б следует В, а предшествует Б все-таки А. Надеюсь, вы понимаете метафоричность момента. Вдоволь нацеловавшись, впрочем, не вдоволь, совершенно не вдоволь. Во-первых, Кристина принялась сетовать, что хочет пить, а если она сейчас же не попьет, то сохнет. Во-вторых, Николай для себя решил: поцелуй, как процесс обмена слюнными жидкостями, если даже допустить, что целующиеся испытывают некие чувства по отношению друг к другу, процесс этот весьма небезопасен. Клавдия Альбертовна Чума, их медсестра, недаром заканчивала соответствующее учреждение, она предупреждала, любые незащищенные контакты ведут к холере, оспе, бешенству, словом, колоссальный список.

У самой столовой к ребятам подошел, беспрестанно оглядываясь по сторонам, крайне неприятный мужчина, представившись Юрием, он достал из внутреннего кармана твидового темно-синего пиджака красную корочку, где было написано. А что было написано, школьники не разглядели, Юрий был молодым, да ранним, он быстро захлопнул свой документ. Уточнив лишь, дело серьезное, а он человек из органов. В руках гражданин держал видеокамеру. Константин Александрович куда-то запропастился, мы предположили, что после такого грандиозного театрального провала драматург побежал в буфет пить коньяк, закусывая сырными бутербродами.

– В чем дело, товарищ? – серьезно спросил Рыбкин. И хотел зачем-то добавить: я читал «Тайну двух океанов» и лучшую советскую фантастику, но не добавил. Пусть незнакомец думает, что имеет дело с необразованными школьниками. Вблизи гражданин показался человеком отвра- тительным, ничего необычного, физиогномика, с которой знаком каждый ребенок. Яйцевидное лицо без намека хоть на единственный волос, отсутствовали даже брови. Маленький, я бы сказал, детский рот, тонкие губы. Голос вибрирующий, словно мужчина не мог определиться, говорить ли ему как подросток, либо перестать ломать комедию и сломать что-нибудь посерьезней. – Не вдаваясь в детали, но имеется подозрение на совершение шпионажа в особо крупном размере, – сказал он, понизив голос. – Я не пила то шампанское, это все инсинуации! – занервничала Баранова. Юрий засуетился: дело совсем не в этом, дело в настоящем государственном преступлении, мы могли бы переговорить с глазу на глаз в более спокойном месте, скажем, в каморке актового зала? Обладая знаниями рукопашного боя, а также навыками гипноза. Без какого-либо опасения сказал ему: извольте, голубчик.

– Суть моего обращения вам станет понятна позже, я обладаю сведениями, дающими мне основания полагать, что пропавшая девочка и вы двое связаны, – сообщил он, зачем-то закрепив свою видеокамеру на столе в каморке актового зала. Юрий без разрешения включил свой аппарат, загорелась красная лампочка. – Во избежание провокаций, при этом для предотвращения факта шпионажа я должен буду записать ваши показания на пленку, кто-нибудь возражает? – гражданин сощурил свои светло-серые глаза. Рыбкин пожал плечами, дескать, снимайте на здоровье, Алексей Балабанов. – Меня, меня снимайте первую! – воодушевилась Баранова. Она принялась наводить марафет, что бы ни значило данное слово. Щеки окрасились в зеленеватый цвет, веки стали фиолетовыми, губы вдруг почернели. Хотелось задать ей вопрос, куда ты дела миеллофон, дурочка. Преображение было удивительно, я точно знал, подобным образом девчонки будут краситься лет через пять. Юрий усадил маленькую женщину перед объективом, облистав пересохшие губы, стал задавать стандартные, в сущности, вопросы. Вопросы о геополитике, эконо- мике, вычислительных машинах.

Однако в основном его интересовали вес, рост, размер черепа. Баранова бесилась, не еди- ножды вскакивала, старалась покинуть гримерку, оскорбленная. Но сотрудник органов ее воз- вращал, ссылаясь на то, что полученная информация окажется в секретном архиве и случайный режиссер из проверенных членов может потом заинтересоваться девочкой. Потом начались вполне стандартные вопросы о Хомяковой, где видели в последний раз, с кем общалась, есть ли враги, что говорят об исчезновении взрослые. Кристина старательно вспоминала, зацепки от- сутствовали, как отсутствует сходство между этим и тем, хотя прозорливый читатель и знает, что то есть то, впрочем, не то и не это, то не это и не то. Данные, полученные от меня, также не отли- чались особыми подробностями. – Ладно, мы закончили, – сказал погрустневший неприятный дядька. И выключил видеокамеру, красный огонек стремительно погас, точно планета Сатурн, а по неподтвержденным данным из маминой библиотеки, она именно погасла. Гражданин подо- шел к Барановой и вдруг стал щупать ей шею, сказав: это для протокола, лимфатические узлы не увеличены, понимаете, возможна связь с ионизирующим излучением. Кристина, повинувшись ин- стинктам, ударила собственным лбом Юрия в подбородок, вследствие чего гражданин осел, что мешок с картофелем, на пол. А мы поспешили покинуть помещение, постановка, посвященная судьбе несчастной елочки, слишком нас утомила. Если не сказать больше, раздосадовала своими, знаете ли, дилетантскими ходами, провинциальным видением и бездарными декорациями.

Бобров, поставленный мною в известность относительно не рыцарского поведения некого дяди Юры, чье служебное удостоверение вызвало ряд вопросов. Пришел в состояние благород- ной ярости. – Наверное, он думает, что мы спустились на белый свет не для того, чтобы общать- ся с Богом, – многозначительно сказал Славка. И схватил металлический стульчик, на котором обычно сидел сторож. В данный же момент сторожа не было, вероятно, слоняясь неприкаянно по коридорам, он слушал пение цветов. Мы в спешном порядке покинули школу. И увидели, как, озираясь и сильно сутулясь, гражданин зашел за угол ДК. О, как полны мы были решимости. Ког-



да будут расцветать яблони и груши, когда будут плыть туманы над рекой, несчастная Кристина Баранова кого вспомнит добрым словом, некого ей будет добрым словом вспоминать. Во дворе за гастрономом, по обыкновению, заставленному коробками, нам удалось нагнать сотрудника Юрия.

Он что-то промямлил, не сбавляя шаг, когда в него прилетел стул нашего достопочтенного сторожа. – Зачем ты щупал лимфатические узлы нашей Барановой? – кричал на лежащего липового шпиона Славка. Когда вразумительный ответ отчего-то не был получен, Вячеслав с присущей ему галантностью, минуя жизненно важные органы, стал пинать нехорошего гражданина. От избытка чувств Рыбкин принялся скандировать: пусть метель и пурга, мы не пустим врага, на границах у нас все отличники или хорошисты, редко когда троечники! Дядя Юра, изрядно побитый, предоставил нам свое удостоверение для ознакомления. Где мы прочитали: старший следователь по особо важным делам, Червяков Юрий Валентинович, дата, подпись, печать. И только данная подробность заставила взглянуть нас на ситуацию несколько под иным углом. Мы, как и полагается не существующим нынче пионерам, принесли извинения, подобные искрам, из которых позднее соберется костер для субботника. А для выяснения всех подробностей дела и более детального рассмотрения вопроса, связанного с похищенной Хомяковой, я вызвался посетить завтрашним утром Юрия Валентиновича. Бобров еще раз извинился, до хруста пожал руку Червякова, отчего тот болезненно согнулся. И мы, дурачась, разошлись по домам.

### **В седьмой главе мы придем в гости к дяде Юре, который никого не завербуем**

Не успевшая встать над городом заря, и бордовый «Москвич-412» у самого подъезда гостиницы Полесье. И первый иней на стекле, и всякое разное морозное, сопутствующее. Юрий из органов остановился на третьем этаже отреставрированной в прошлом году гостиницы. Отчего-то мальчику стало безумно интересно, какие именно органы входят в состав Юрия. Должно быть, жизненно важные, без аппендицита обойтись можно, без молочных зубов тоже. А как быть с остальными, мочевым пузырем, допустим. И зачем взрослому мужчине назначать встречу наедине, когда вопрос голода в странах Африки еще не решен. В просторном фойе носились наперегонки молодые люди в красных фраках. Над стойкой регистрации в стеклянной рамке была запечатлена красивая цитата: простота и неброскость ореховой рамы лишь подчеркивает очаровательную прелесть пейзажа и колористический блеск лессировки. Я назвал своим именем, женщина с горчичными кудрями сообщила номер. Поднимаясь по широкой лестнице, уловил едва слышные древесные и цветочные нотки, звучащие тут и там. Кремовая дверь была полуоткрыта, вошел без стука. Впрочем, с определенной долей опасения.

Светло-желтые обои с ромбовидным рисунком. Две отдельные кровати, застеленные красными покрывалами. Журнальный каштановый столик, на нем хрустальная пепельница. Паркет постелен совсем недавно, идти по нему одно удовольствие, не скрипит, не прогибается под шагами. Стол побольше завален папками в коричневых обложках, надписи на папках: сов.сек., до восстановления, особая важность; набор цветных фломастеров, две черные ручки, две синие ручки, один карандаш. В серванте за стеклянными дверьми маленький кремовый холодильник. Торшера свет недостаточно яркий, в номере полно темных пятен. К примеру, в противоположном углу, в леопардовом глубоком кресле мог сидеть кто-то еще. Перед креслом постелен круглый красный ковер. Обстановка волнительна, словно родительская ругань на повышенных тонах, в ходе которой узнаешь о братике, которого с вами больше нет. Нет, сравнение никакое, волнительно настолько, насколько процесс вынашивания слоненка слонихой, двадцать месяцев она его вынашивает.

– У девочки Кристины Барановой есть поводы для волнения, – сказал грустно Юрий, открывая маленький холодильник. Товарищ появился из ниоткуда. На столик он поставил тяжелый стеклянный бокал, налил грамм сто водки, перочинным ножом разрезал напополам лимон, вы-

жал в бокал капель тридцать, бросил обескровленный цитрус туда же. – Вы об этом хотели со мной поговорить, зачем такая конспирация, мне показалось, что в школе за нами никто не следил, и поводы для беспокойств отсутствуют, – сказал уверенно Рыбкин. Мужчина сделал глоток, поморщившись. – А у кого их сейчас нет, инфляция, родители ругаются, контрольная на носу, – сказал ему невозмутимо хозяин номера, угадав с темами, беспокоящими мальчика. По коленке гражданина юрко пробежала сороконожка, он дернул ногой, едва не уронив столик. – Вы женаты? – спросил Коля, ведь считал, что женатые гэбисты есть люди, умеющие ценить дружбу. На бирюзовой тумбочке работал вентилятор, потоки прохладного ветра приятно почесывали щеки. – В безоговорочно телесном контакте мы поняли, что это конец, межвидовая борьба нас так истощила, что мы были вынуждены развестись, – Юрий был прекрасным оратором. И речи его казались подростку эталонными, речи его как снежная вьюга, что устремлялась из его уст, сказала бы мать. – За Кристиной Барановой обнаружена слежка, уровень чрезвычайно высокий, с подобными профессионалами я встречался только в Алжире, – сделал глоток Юрий. Рыбкин, почесав переносицу, спросил: предлагаете на живца, кстати, какова связь между Барановой и шпионажем, ее родители являются носителями государственной тайны? Хозяин номера виновато опустил глаза, произнеся: всех деталей я не могу сообщить, но дело в родителях, да. – Ох, – воскликнул Коля, – они же простые геологи, куда катится мир!

В дверь постучали. – Да-да, – сказал Юрий, запахивая полы своего махрового халата. Вошла девчонка лет двадцати в красном фирменном костюме, пиджачок, юбка. Поинтересовавшись, не рановато ли для молодого человека пользоваться услугами интердевочки, получила отрицательный ответ. – Это сын моей сестры, он просто зашел в гости, мы не за этим, – соврал очень подозрительный дядька. Сотрудница гостиницы понимающе кивнула, тонкие черные усики девчушки отчего-то взволновали, мне в ту же минуту представился образ горячей испанки. – А извращенность за тобой водится какая, знал, например, пацана, так он женился на собственном паспорте, – было непонятно, шутит ли новый знаковый. И почему от снежной вьюги, что устремляется из уст в уста, он так бестактно перешел к пошлостям вроде «Маленькой Веры». Впрочем, я решил не заострять внимание, ответив односложно: Юрий, вы переходите границы, что будем делать с Барановой? Гражданин долил в бокал водки, выпил. Сказав: ну, как же, социально опасные элементы не дремлют, вот сейчас к нам заходила девушка, однако в ее левом ухе я заметил наушник, значит, в данный момент мы с тобой в активной разработке. – А они социально опасны в каком роде, то есть существует ли противоядие, как, скажем, йодид калия или этаперазин? – спросил я, прикидывая, как покинуть игру, затеянную двойным шпионом. А в том, что мужчина шпион двойной, если не тройной, сомнений почти не осталось. – Положу руку вам на сердце, – сказал Юрий и положил, – терпение, мой мальчик, терпение и труд. – Он стал прохаживаться с бокалом по комнате, приговаривая: если мы не будем спешить, они себя выдадут, вот, например, этот наушник, а потом, как охотникам на змей, нам останется лишь схватить каждую голову это гидры да раздавить.

– А вы занимаетесь внешней политикой или внутренней, то есть шпион понятие весьма размытое? – задал ему, как показалось, вопрос, благодаря которому станет понятней о степени его двойственности. – Я очень серьезный сотрудник, как-то раз я спрятал в межъязычковом пространстве ампулу с цианистым калием и носил ее там целую неделю, готовый в любой момент сделать это, – собеседник присел, не отрывая пятки от пола, спина его была пряма, девяносто градусов, сказала бы любая училка математики. – Что сделать? – спросил у него я, на всякий случай сделал удивленное лицо. – Разгрызть ампулу и убить себя, – Юрий прикрыл глаза, вероятно, вспоминая то безрадостное времечко. – Ого, – только и смог сказать Коля. В каштановом серванте на белой салфетке с вышитыми алыми узорами стояла хрустальная ваза, в ней было три красные гвоздики, желтые прямоугольные часы показывали половину двенадцатого. – А что вы там придумываете в театре, вот мне понравилось, можно было еще сделать штрих-код из березовой рощи, мощный подтекст получился бы! – развеселился Юрий, сделав глоток. Наша беседа являлась тонкой игрой двух стратегов. Каждый просчитывал наперед следующий ход оппонента. Ошибка могла

иметь слишком высокую цену. Мужчина сбросил халат, оставшись в одних белых плавках, потом нагнулся под кровать, извлек оттуда гири.

– Ты не удумал еще забывать мир и в сладкой тишине быть усыпленным воображением, а то дел у нас неупорот! – с трудом говорил Юрий, жонглируя зелеными шестнадцатикилограммовыми гирями. – Не удумал, – говорю, а сам сонный, как макаронина, сижу в мягком кресле. И размышляю, к чему дело идет. Допустим, он подозревает меня в шпионаже, нет, слишком просто. Хомякова, летающие над городом шары, все звенья одной цепи, однако что-то не сходится, не сходится, и все тут. Какие-то улики, должны быть улики, в шестом, недостроенном, микрорайоне видели фантомов милиционеров. Об этом же писали, точно писали, потом целую серию краж раскрыли. – Так у нас Хомякова пропала, можно сказать, похищена, и ДНК там есть, в средствах массовой информации сообщали, что волос, возможно, нападавшего имеется! – закричал я. Меня как будто прошибло током, я вскочил с места. – Это как раз и проверим, надо проверить, проверим! – Юрий Валентинович раскраснелся, зачем он делал зарядку, неспроста, неспроста. – Все уже передали, ты чего такой нервный, присядь, – мужчина поставил свои гири на пол, усадил мальчика в кресло.

Налил в бокал грамм сто, дождал вторую половинку лимона. Принялся рассказывать по комнате, выпивать и рассуждать. Самое страшное, когда ничего не происходит, дети в садике играют, дяди у станков гайки крутят, а ничего не происходит. Птицы не меняют курс, а снег выпадает первого декабря, редко когда в конце ноября. Студенты протестовать не ходят. Курица, и та на рубль не дорожает. И все это неправильно как-то. Ты постоянно настороже, подмечаешь это, подмечаешь то. И вдруг соседский котенок, что писал в девять утра у дерева во дворе, поднимая правую лапку, чтобы это самое. А сегодня бац, он поднимает левую лапку, и время, главное, время девять ноль две. Вот оно, думаешь ты, я совсем близок. И я бы попросил тебя помочь в этом непростом деле, наблюдать, хотел бы, чтобы мы с тобой стали настоящими напарниками, коллегами.

Юрий дошел до маленького холодильника, достал сырок «Дружба», бутылку с мутно-зеленой жидкостью. – А я все-таки убежден, что женщина должна быть граненым стаканом, какую ты в нее мерзость не влил, стеклоочиститель, джин или самогон, будь добр – выпить залпом, не поморщившись, – философствовал человек из органов. Откуда-то появился сервелат, докторская. – У нас граненый стакан такое же оборонное изобретение, как, например, автомат Калашникова, – гражданин сервировал столик. – Давай, родной, настойка у меня на полыни, хорошая, пей да не морщи нос, а закусим вон, сырком с колбаской! – Юрий Валентинович умел убеждать. Жидкость приятно обожгла пищевод, сырок «Дружба» самым наилучшим образом смягчил послевкусие. Рассуждая, Юрий изредка посматривал как бы с опасением на дверь комнаты. Колька приметил: на темно-коралловом двухстворчатом шкафу лежала стопка фантастических журналов. – Увлекаешься поди? – не спросил, но утвердил Юрий Валентинович. Он встал на табуретку, потянулся к этим самым журнальчикам, отчего его махровый коричневый халат из ГДР, у папы есть такой же, распахнулся. В голове постукивали молоточки. На груди гражданина синими чернилами вытатуирован какой-то номер, подтянутое, загорелое тело, чуть ниже левого соска зарубцевавшаяся округлая ранка, длинный молочный порез в области живота. – Да я не то чтобы, подписка дорогая, – промямлил Коля. А сам подумал: опоил, опоил меня сывороткой правды, хотя, что ж мне скрывать. Какое ненадежное положение, не сказать бы лишнего.

Хозяин номера вручил мальчику увесистую стопку журналов, сказав: я в душ, а потом надо съездить по делам, не скучай тут, можешь послушать музыку, у меня совершенно чудная лекция Kiss. Он подмигнул заговорщически и скрылся в ванной, напевая: если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому, если у вас, если у вас нету жены. Я присел на краешек малинового дивана-книжки, взял первый попавшийся журнал техники молодежи за девяносто третий год, статья была о полтергейсте. Пожелтевшие от времени листы, расширенная публикация о неординарном изобретении новосибирского энтомолога В.С. Гребенникова. С некоторой долей скептицизма, свойственной подростку, с ранних лет увлеченному токсикоманией, подобные штучки ни в коей мере не впечатляли. Однако от нечего делать я углубился

в чтение. Гребенников затрагивал такие малоизученные свойства основ мироздания, материи пространства и времени, что ретивые экспериментаторы, не сведущие в данных вопросах, поддавшись непосредственным алгоритмам взаимодействия с неопознанным, могли наворотить дел. Гребенников писал: «некоторые экологические, медицинские и, увы, политико-экономические аспекты применения этих устройств, не требующих ни горючего, ни электричества, и не изнашивающихся, но порой порождающих неожиданные выбросы огромных энергий, не очень понятны и не очень приятны, вплоть до таких небольших катастроф, что требуют дальнейшего изучения, незамедлительного и многомудрого, и потому я был вынужден прервать данные работы в Новосибирске в одна тысяча девятьсот девяносто первом году». Отложил журнал, подошел к окну.

Я всматривался в окно, за ним были крики нахальные, разлили бидон молока с желтой лентой: обеззаражено; в лицах-ожерельях не было и намек на сострадание, скорбь и веселье соседствовали наравне, улица двигалась, старцы и дети на коленях плакали и смеялись зачем-то у булочной. Мне отчаянно не хватало позитивизма и лингвистической философии; подумалось вдруг. Откуда я набрался этих глупостей, ума не приложу. Недавно опять снился тот неудачливый мальчик, что не сумел подстрелить утку, его папа сапожник выпорол еще за желание рисовать красками, в общем, вы помните. Он сильно повзрослел и выглядел, по меньшей мере, лет на двадцать, или даже двадцать два. В полутемном баре стоял дым коромыслом. – Превентивный, только превентивный удар способен переломить ход истории! – кричал, повизгивая, выросший мальчик, его короткие усики напоминали щетку для папиной обуви. Он кричал на немецком, но смысл был мне понятен, это же сон. На нем были высокие шерстяные брюки с красными подтяжками, белые легкие туфли, отчего-то я вспоминаю слово: топсайдеры; под клетчатым пиджаком с янтарным отливом виднеется бежевая рубашка. В помещении мужчин двадцать. Все они отодвинули столы, в центре распинается этот выросший мальчишка. – Национальная революция началась! – закричал он, залезая на барную стойку, и неожиданно для всех сделал выстрел из пистолета в потолок, пистолет называется Люгер, это же сон. Усы-подковы, взлохмаченные челки, выпитые залпом кружки пива, глаза блестят что кузов автомобиля на солнце. Граждане скандировали воинственные лозунги, в окно полетел стул, оно со звоном разбилось.

А дальше в дверь бара вошел, прихрамывая, лысоватый господин в круглых очках, с небольшой седоватой бородой, в длинном пальто, белой рубашке, синем галстук. – Можно мне кружечку ржаного пива, пожалуйста? – спросил он тихим, добрым голосом. – Проваливай, старик, – рявкнул на него сын сапожника, – для тебя у меня есть только пуля. – И он, этот сын сапожника, направил свой Люгер на грудь господина. Мужчины стали обступать гостя, кто-то из толпы небрежно сказал: хочешь, я тебя сейчас так отделаю, как свою старшую дочь, как там тебя? – Януш, – представился человек, виновато поджав губы, дескать, что поделаешь, раз нельзя ржаного пива. Он протиснулся сквозь толпу обратно к выходу. И уже у выхода произнес: жаль мне вас, взрослые, вы так бедны радостью снега, которого вчера еще не было. Неудавшийся охотник из моего сна выстрелил, на этот раз пуля пробила входную дверь, щепками Янушу оцарапало лицо, тонкие красная полоска на покато лбу стала напоминать ленточку для волос, красная полоска на щеке, что кровоточила несколько больше, чем на лбу, заставила меня в моем же сне пустить скупую слезу. А вот, что произошло в следующий момент. А в следующий момент лысоватый господин, прихрамывая, подошел к злостному взрослому мальчику, обнял его. И сказал, но сказал не только сыну сапожника, а как бы для всех, просто слова для сына сапожника были как будто персональные, что ли: я видел три войны, видел покалеченных, которым руку, ногу оторвало, живот разворотило, так что кишки наружу, раненых взрослых, детей. Януш на мгновение смолк и продолжил: но говорю вам: самое худшее, что можно увидеть, это когда пьяница бьет беззащитного ребенка или когда ребенок ведет пьяного отца домой и просит: папочка, папочка, пошли домой. И никто не заметил, как лысоватый господин в длинном пальто, белой рубашке и голубом галстук покинул бар. Граждане недоуменно переговаривались, вот чудак, что это было, кажется, бедняга совсем тронулся из-за этой независимой Баварии, ему бы детей нянчить, а не в революционера играть. И никто не заметил, как выросший амбициозный и недолюбленный мальчик, что

неудачно подстрелил утку, запершись в туалетной комнате, заплакал. То были слезы умиления и сокрушения, слезы взрослого мальчишки, глубоко осознающего свое не достоинство перед Святостью Божьей, и не только покаяние было в слезах его, но любовь была в них.

В комнату вошел Юрий в пижаме в голубую и красную полоски, дымя сигареткой, видя мою заинтересованность, запросто предложил закурить: вы курите, молодой человек, не стесняйтесь, пепельница на столе. На журнальном светло-коричневом столике в стеклянной пепельнице-ежике лежали бычки. Тут же на столике желто-белая пачка с горделивым верблюдом, *turkish american*, пески были такие далекие, такие близкие. Тут же лежат красивые желтые кожаные перчатки. Мальчик достал одну сигаретку, поспешно зажег ее синей пластиковой зажигалкой, закашлявшись. Дым наждачной бумагой, как на уроках труда, расцарапал горло. Хозяин номера похлопал по спине, его ладонь была тяжелой и твердой. – Итак, Николай Спартакoвич Рыбкин, учайщийся в седьмом классе, хорошист, – произнес мужчина, – кем хотя бы стать современные школьники, шпионами? – Мальчик сделал еще одну затяжку, положил сигарету в пепельницу, сказав осторожно: возможно, что-то связанное с физикой, мне нравится изучать молекулярную структуру веществ. – А ты знал, что в наших курицах столько стероидов и анаболиков содержится, тема-то гораздо интереснее кратных, криволинейных и поверхностных интегралов? – то ли спросил, то ли утвердил Юрий. Он прошелся к окну, раздвинул бархатные зеленоватые шторы. – Тема животноводства сейчас ой как актуальна, вот говорят пренебрежительно: колхозник, доярка, но не будь специалистов сельской отрасли, не было бы элементарных продуктов питания, – гражданин ходил вокруг да около, Рыбкина элементы питания совершенно не интересовали, а вот судьба Кристины Барановой до недавнего времени очень даже интересовала. Теперь же Червяков казался объектом, заслуживающим настоящего допроса, допроса основательного. Эх, надо было со Славкой поговорить с пристрастием с этим Юрием прямо там во дворе универсама. Документы, нас обвели, как детей, их же подделывает каждая старуха-соседка для поликлиники.

– На базе брянского политехнического института сформировали специальный отдел по изучению аномальных явлений, никакой мистики, сплошь наука, одни кандидаты технических наук, – сказал вкрадчиво дядя Юра, рассказывая за спиной мальчика. – Но мне всего лишь двенадцать, какой из меня кандидат? – резко обернулся Коля. Старший следователь спросил совершенно не по делу: а знаешь ли ты, что фашисты, те самые, не все тогда погибли, а многие продолжили свои чудовищные эксперименты, а у некоторых из них до сих пор есть дети и внуки, которые активно развивают их делишки, Коля, представляешь? – Юрий Валентинович налил в бокал себе водки. Немного захмелевший Рыбкин произнес: мне кажется, я догадываюсь, что вы боретесь с потомками фашистов, а также с непосредственными шпионскими организациями, действуя изнутри. Червяков безмолвствовал, уставясь в окно, стоя спиной к Николаю. Вдруг Рыбкин заметил фотоснимок, он, должно быть, выпал из кармана халата, когда Юрий лазил на шкаф. На сетчатых воротах, вероятно, фабрики было выведено белой краской: *arbeit macht frei!* Труд освобождает, беззвучно повторил Николай, труд освобождает. По коридору везли тележку, что-то упало. Хозяин сего номера медленно отвернулся от окна. Ребенок поспешно спрятал фотोगрафию в брюки.

Червяков расслабленно улыбнулся, сел в кресло. И стал рассказывать, кажется, не глядя на мальчика вовсе. В одной руке бокал, в другой дымится сигарета, нога закинута на ногу. А я ведь был таким же сорванцом, помню, как меня искали пожарные, милиционеры, фотографы, по всей столице искали, долго не могли найти. А мальчик я был плечистым, крепким, белую кепку набекрень носил, однако волновали меня тогда и занимали отнюдь не подвиги, девчонок не спасал, старух через дорогу не переводил. Откисал, что называется, на притонах, тогда их еще элегантно называли малинниками. Помнится, случай такой, карабкаюсь я по подосточной трубе, а дом полыхает, шифер взрывается. Целый двор выбежал, советы раздают, у каждого свое видение ситуации. На четвертом этаже проживал барыга наш. Я высаживаю балконную дверь, повсюду дым, я на четвереньки, гляжу, на кухне, на столе гора золотая, цепочки, кольца,

медальоны. Ползу туда, а слева, из ванной слышится стон. И что-то во мне переключилось, как будто тумблер какой щелкнул. Трогаю барыгу, кажется, дышит еще, подхватываю его, дыхание задерживаю. И вниз. А там скорая, милиция, соседи, все аплодируют, медаль обещают, денежное пособие в виде поощрения. – Как однажды тонко выразилась подруга матери, Дарья; учебное пособие это одиночество для одиноких, один автор это уже коллектив авторов, – сказал без тени смущения Рыбкин.

Новый знакомый, сотрудник Юрий зачем-то надел свои превосходные кожаные перчатки. – Эх, распогодилось, – сказал он, – если хочешь, у меня там душ, примешь, хорошо станет! – Ну, думаю, вроде бы ничего страшного, если и впрямь ополоснусь, а потом уже закончим этот идиотский разговор, придем к соглашению, наметим пути развития, грубо говоря, общий вектор. Топаю в душевую, батюшки, там в кабинке специальный рычажок,жимаешь, а пол начинает вибрировать и ступни шариками металлическими массажировать. Вода прохладная, ниагарская, музыка включилась, какой-то джаз. А гражданин этот явно непростой, размышляю, заселился в такой козырный номер, правда, чудак. Но, вероятно, чтобы не рассекретили, взяли на службу гражданина по складу характера простофилю. И вдруг, слышу, в комнате грохот, разбилось чего-то, тело упало. Ну, простофиля и есть, в собственных ногах, думаю, запутался, как до своих лет дожил только. Вместо полотенца, представляете, сушильный аппарат, причем раструбы с теплым воздухом по всему периметру кабинки расположены. По возвращению в комнату встречает меня пренеприятнейшая картина. Юрий в одних голубых плавках возлежит без признаков жизни на побитом в пух и прах столике. Тут вспоминай, не вспоминай советы по реанимации от Клавдии Альбертовны Чумы, дело скверное. Язык, что синяя мурена, набок, глаза закатились, а перчаточки свои не успел снять. Рядышком переломанная видеокамера, белые струны, а вот гитары не наблюдается. По-видимому, бедолага хотел впечатлить меня игрой на инструменте, опрометчиво с его стороны. Я для приличия специальным ударом Сэйкэн цуки по груди его саданул, тем самым извлек из дыхательных путей, что бы вы думали, лимонную косточку. Иду к выходу из номера. И размышляю, читал где-то, что самые высокоразвитые создания на земле находят жизнь обременительной, если не хуже. Слава богу, что нас это не коснется, улыбаюсь, плотно закрывая дверь номера. Ситуация неприятная, а что поделаешь, у каждого свой путь.

Я мчал на велосипеде, мост, ведущий на станцию, остался далеко позади. Воздух, напоенный пыльной горечью, был весьма свеж после недавно прошедшего дождя. Непроницаемой стеной вдаль стояла березовая чаща. Справа, в поле, желтела новорожденная рожь. Проезжаю напрямик через кусты орешника. И оказываюсь на песчаном берегу. На блестящем, как жемчуг, песке лежала смольная рыба с огромной, как желание научиться водить машину, пастью. Перемазанные илом и сажей подростки с интересом рассматривали заколотую длинными наточенными палками, рыбу. Вдруг кто-то из них воскликнул: смотрите, у нее что-то в пасти! С превеликим трудом им удалось разжать челюсти рыбешки, зубы острые, по неаккуратности кто-то порезался. На песок закапала струйка крови. В пасти оказался слегка размокший желтый тетрадный лист в клетку. Отчего-то мне сию же минуту подумалось, что это связано с Мишей Токаревым, не знаю, почему, подумалось, и все тут. Когда листик, сложенный вдвое, оказался в моих руках, тогда-то я и прочитал стихотворение, последнее ли, не думаю, на моей памяти оно было не последним, в дальнейшей жизни, может показаться странным, но мне снились как будто новые стихи Миши Токарева, но все поутру забывались. Вскоре мы переехали в новый город, папа занялся очередным коммерческим делом, принялся строить детские развлекательные учреждения в Омске, а мама вновь устроилась в библиотеку. Однако то стихотворение, обнаруженное в пасти чудовища, я запомнил, в этом не сомневайтесь, память у меня хорошая, а уж память сердца какая, вы бы знали. Текст назывался: мышеловка для снежинок.

Выпадаю из речи,  
Видимо, фонетически,

То есть теряю созвучие:  
 Меня зовут Миша,  
 Мне двадцать восемь  
 И я аптечный зависимый,  
 Сиречь аптечный зависимый,  
 В смысле, аптечный зависимый,  
 Иными словами, вы знаете,  
 Наверное, знаете, хотя  
 И не близки фонетически.  
 Как стилистика снега,  
 Шесть гласных,  
 Упав на кроличью шапку,  
 Тают ли одинаково,  
 Что те тридцать и шесть  
 Согласных  
 На цигейковой шубе,  
 Припозднившейся дамы.  
 И когда мело по всей земле,  
 Во все пределы,  
 Из контурной карты  
 Сначала выпала Азия,  
 Индия, Казахстан,  
 Потом исчезла Монголия,  
 Географы составители,  
 Сдававшие еще сопромат,  
 Их дети, Жучка на даче,  
 Посуда в серванте,  
 Пачки таблеток от кашля,  
 Полуночный кашель,  
 Рецепты сто сорок восьмые.  
 И плакала девочка в автомате,  
 С контурных карт  
 Исчезли синие венки  
 Сены, Волги и Камы,  
 Темзы, Лены, Тунгуски.  
 Но вы, пожалуйста,  
 Не исчезайте,  
 Седьмая  
 И тридцать седьмая  
 Снежинки.

Холодные летние туманы очаровали двор. Вещи собраны и стоят в прихожей, все эти баулы, чемоданы, коробки, свертки, перетянутые лентами, резинками. Во всей Припяти жилых домов осталось штук пять, не больше. Отчего-то уезжаем не только мы, странное дело. В дверь нетерпеливо стучат. Наверное, пришла мама, наверное, какую-то свою штучку забыла положить в кузов папиного грузовика. Она так расстроилась, когда услышала новость о нашем отъезде. Подкидывая теннисный мяч, медленно иду открывать и решаю, что хочу завести себе овчарку, чтобы помогала пасти овец. Когда я закончу институт, обязательно куплю ферму и займусь сельским хозяйством. Должно быть, в этом есть какой-нибудь смысл.

**В восьмой главе читатель повстречается с Николаем Рыбкиным годам вопреки, мы были с ним близки двадцать лет спустя**

*...Имели место быть события тех лет, когда наша мама твердо решила сдавать нас в наркологию. По вероятно, времена те сопровождалась процессами весьма постыдными. В очередной раз, видя мою запруженную постель, родственница талантливо определяла: сорвался, подлец, предатель, шпион! Дикция Брежнева, не позволяющая объяснить в должной мере, откуда берутся дети, тяжелая социально-экономическая обстановка, и та против него. Апелляция вовсе не нуждалась в приговоре, приговор в следствии, следствие в игле, игла в яйце, киндер-яйцо со времен моего малолетства, стоит заметить, испортилось окончательно и бесповоротно, чего уж тут беречь старые раны. И это пока страна трудится в поте лица, пока brave слесари нарезают резьбу во плоть народа, железнодорожники перегоняют вагоны с углем, заодно покрикивая: Серега, давай в плянцу по пиву! А драматурги, скрюченные от радикулита, ставят патристические спектакли, чтоб вдохновить рабочего человека выходить на смену пять через два и зачем-то переключать бумажки с места на место. Он стоит, весь такой бонвиван, и в очередной раз простирывает просиженный матрас. И лопочет: о, рецидива не будет, не будет...*

Вероятно, Токарев снился не так уж и часто. Хотя, стоит признать, снился, то есть отрицать это бессмысленно. Допустим, он снился, когда у жены случались невротические приступы, ее конвульсивно-нежные руки чрезвычайно пугали наших детей. Совершенно чудовищное время было, приезжали бригады скорой помощи. Вы знаете, мне удалось безупречно выучить имена фельдшеров, медсестер, водителей. Здороваясь, я обычно спрашивал, как поживают их тещи, братья, сестры, кого выпустили раньше срока из лагеря, кого оставили на второй год. Вынужденно улыбался, кивая, мол, случается и не такое, держитесь. А сам думал только о жене, о ком еще, мы же клятвы с ней дали. Так вот, приезжала очередная бригада, иногда они забирали супругу туда на месяц, иногда на два. Временами вкальвали медикаменты прямо дома и не забирали туда. Туда в моем представлении символизирует что-то родственное консервированию. Вы наверняка помните, как еще в девятнадцатом веке Николая Аппер, кондитер, изобретатель консервов додумался продлевать срок хранения продуктов за счет угнетения жизнедеятельности микроорганизмов, портящих эти самые продукты. Жена, попадая туда, будто бы избавлялась от подобных микроорганизмов. До чего странно сейчас рассуждать, чувствую некую неловкость. Как будто матерью или разговариваю на языке своей страны. Какой-нибудь дикой глуши, где по-прежнему царит племенной строй и живут каннибалы в лачугах.

Как правило, накануне припадков супруги во снах я видел обрывки его текстов. Еще удивлялся, надо же, стихи, повести, как все серьезно. А ведь до этого я не читал их, но отчего-то такая уверенность в авторстве. В настоящее время встречаются, конечно, любопытные экземпляры книг, написанных Токаревым. Но, понимаете, это больше для эстетов, рыщущих по литературным лавкам, по букинистическим отделам, по независимым книжным универсамам. Ой, вы сейчас напомнили, а я как будто бы вернулся в то время. Нынешние подростки, полагаю, и не читают Крапивина, Владимира Железнякова, того же Анатолия Алексина. А мы их читали наравне с этим буйнопомешанным Токаревым. И школьные друзья, Бобров, например, им зачитывался в юности, бредил путешествиями по Карелии. Жена моя, кстати, тоже любила его верлибры. Мы с нею, надо сказать, познакомились на презентации Мишиной книжки. Татьяна Соловьева, директор библиотеки, где проходила презентация, помнится, излишне нервничала, она призывала присутствующих прекратить связываться с духом Венедикта Ерофеева. Ее холодная красота, подобная войне, вынуждала Великобританию проводить первое ядерное испытание в пятидесятых, ее холодная красота, подобная войне, стала причиной гонки вооружений. Во избежание беспорядков на мероприятии дежурили психиатры высшей категории. Студенческие годы, как же давно это было. И по сей день считаю «Хрущевку нашей любви» книгой для семейного прочтения.

Я развелся с женой, пятнадцать лет блака, как выразился бы наш старший лунный сын. Жизнь с ней напоминала поездку на поезде по Багдаду в начале двухтысячных. Со всех сторон



летят ракеты, взрываются фосфорные боеприпасы. Пулеметные трели: тра-та-та-та-та. Впрочем, сцены нашей супружеской жизни во времена столетнего цветения в могучем и вечном лесу мировой литературы человеческого гения, Николая Гавриловича, наверное, не всем бы пришлись по душе. Николай Гаврилович, Николай Гаврилович, если б вы знали, что делать с психически нездоровой женой. Мне кажется, сцены нашей супружеской жизни недостаточно хороши даже для драматического кружка исправительной колонии забайкальского края. Куда ветром редакторского задания меня занесло. Занесло при каких-то невероятных обстоятельствах, как во втором сне Веры Павловны, в самом деле. Шестой отряд второго барака погожим утром, синим и морозным, проснулся, а каждый арестант внезапно уменьшился. И стали они росточка небольшого, полметра всего. У Веры Павловны во сне, поправьте меня, если ошибаюсь, по полю блуждали муж и Алексей Петрович. И всех она миленькими называла. Безусловно, в забайкальском крае сидели убийцы, жулики, угонщики, но все они разом сделались какими-то миленькими, что ли. Я опять не о том, трубу под вторым бараком, где жил шестой отряд, прорвало, какой-то токсичный газ вырвался на свободу. Словом, случилась массовая галлюцинация, причем, я опять не о том. Мы прожили с женой двадцать лет, из них пятнадцать в официальном браке. Я работал, много работал корреспондентом. Вел специальные рубрики о мистических, скажем так, проявлениях нашей жизни. Рубрики были такие: а бабушки здесь тихие, чупакабра ни в чем не виновата, барабашка нашего Бирюлево, спроси у спиритиста. Вспоминаю, а у самого горят щеки. Должно быть, вы читали меня под псевдонимами: Вальдемар Ясный, Зигфрид Великолепный, прочими выразительными, нелепыми прозвищами.

Бывает, мне пишут прежние, нежные, бережливые читатели на личную почту. Их корреспонденция весьма трогательна. Одинокие женщины-вдовы, матери-одиночки благодарят за надежду. Иными словами, я по-прежнему глубоко убежден: за буквами стоит что-то еще, какое-то вземное молчание. И читают милые граждане не о ведьме, сожженной в средневековье, а теперь мешающей сходить нормально в туалет, ибо сожгли ее на месте дома, где проживают люди, которым сожженная в средневековье ведьма мешает сходить в туалет. Но читают о своих собственных почивших мужьях и братьях. И думается им, есть там, на той стороне жизнь, встретимся, родимые, встретимся. Но я не хвастаюсь, еще чего. Взрослому, состоявшемуся, с двумя детьми мужчине хвастаться не пристало. Вы спрашиваете о Токареве, или вас интересует исключительно моя работа журналистом. Просто так совпало, что журналист десятилетней давности, истекшего срока хранения, и журналист во дни настоящие – это совершенно разные люди. И во многом, считаю, с литератора пусть и не началось мое преображение, во всяком случае, с него началась моя любовь к живому слову. Собственно, мне удалось разбавить сухой, как сказал бы Миша, старушечий язык, что по великой ошибке оказывается в вашем ушке в переполненном троллейбусе. Считаю, мне удалось добавить необходимой художественности. Понимаете, людей интересует, по большому счету, не столько событие, вернее, событие их тоже интересует, но во вторую очередь. Прежде всего, читателю важен автор. По крайней мере, нас так учили в институте мэтры, а также километры журналистики, Александр Бархатов, например, Иван Алексеевич Панкеев.

Можно бесконечно рассуждать, почему, раз ты такой умный, тебе не удалось до сих пор получить паршивое место лектора, почему ты еще не обучаешь молодых, эксцентричных, амёбных, разных корреспондентов, где твои сборники статей, вышедшие отдельными книгами. Отчего Эмиль де Жирарден, или Жак-Рене Эбер имеют таковые сборники. Вероятно, в какой-то момент я позабыл, с чего начинается Родина, а играть по бразильской системе без этого знания совершенно невозможно. К тому же развод, сокращение. Мы всегда нуждались, дети это затратное мероприятие, тем более дети с особенностями. Но тогда, в те достопочтенные годы, чувствуете, как непроизвольно я перенимаю Мишин стиль. Мы нуждались особенно остро, послевоенное время. Крупный журналистский формат стремительно, а мы и не заметили, конечно, заметили, еще как заметили. Крупные журналистские расследования совершенно перестали читать. Мы по скудоумию еще полагали, дескать, читателя как рыбу оглушило всеми этими валютными обмен-

никами, йогой по пятницам, художниками без картин. И вот сейчас, вот-вот, совсем скоро роман-газета воссияет на весь подъезд каким-то невообразимым фиолетово-красным светом. Из каждого почтового ящика, принадлежащего каждой семье в доме, воссияет. И торчок на третьем этаже прозреет, ляжет в клинику, поступит правильно. Не в академии Гнесиных, не во ВГИК, не в университет имени Баумана, просто правильно. И наемный убийца на пятом этаже обронит свой пистолет с глушителем, подумает, божечки, а ведь я столько не успел прочитать, да хоть бы Стругацких. Выйдет через черный выход, пройдет по солнечной стороне улицы, сядет в трамвай и поедет в библиотеку.

Голова кипела, словно Косово под обстрелами. К журналистике добавились подработки, дворник на полставки, ночной сторож в детском саду. Я был близок, по крайней мере, так чувствовал, к самому настоящему безумию. Много пил, это хоть как-то помогало держаться на плаву. Родился сын, я был весь распадающейся страстью. Тексты выходили, но за них платили ничтожно мало, единственные приличные брюки прохудились. Я намеренно забывал их надеть, надевал спортивные штаны. И определенно знал, что когда-нибудь забуду надеть зубные протезы. А своему сыну, размышлял, дам несколько хороших советов, потому что утрачу способность показывать дурной пример из-за своей немощи. Как динозавр, что весь не умер, но стал едою будущего, нефтью, решил я, буду полезен своему мальчишке. У жены, помнится, случилась ремиссия, пожалуй, одно из немногих после рождения сынишки светлых воспоминаний того времени. Ее родители, которые были категорически против нашей помолвки, присылали продукты из Черногории. Буржуа-виноделы, попрекающие в неумении перестраиваться, они были недовольны, что их дочь вышла замуж за перестройку, пустые прилавки, очереди, талоны, неуверенность в завтрашнем дне. У женщины за всю жизнь примерно миллион яйцеклеток, говорили они, а ты своих бесполезных статей написал два миллиона, кого ты этим очастливил.

Быть может, читателям будут интересны подробности моей жизни после Припяти, быть может, что-то про детство их интересует. Бобров, да все мои одноклассники, повстречавшиеся в разных городах: Пермь, Магнитогорск, Оренбург, Саратов. Являлись детьми с фасеточным зрением. Детьми, вскормленными млеком депрессии. Выходцами из бедных семей, все, что у нас было, это странная любовь наших родителей и никаких перспектив стать успешными адвокатами, филантропами, дантистами, прокураторами. Насколько мне помнится, школы, в которых я учился, а их было немало, всегда соседствовали с гимназиями, лицеями, где проходили обучение ребятишки, как бы выразиться, дворянского сословия, реже дети попов. И несмотря на разницу между нами, питание у них было лучше, игрушки, выходцы из неблагополучных семей отличались, не поверите, своими размерами. Мы были крупнее них, наш седьмой класс, играя в футбол с их десятиклассниками, доводил детишек буржуа, словно автора лягушки-путешественницы Всеволода Гаршина довели трагические обстоятельства до самоубийства. Мы доводили до слез этих ребят, не способных биться до конца, на смерть. Даже учителя казались со стороны заморышами по сравнению с нами. Они с опасением рассказывали о тангенсах, о князе Владимире, что крестил Русь. В определенной степени наши славные учителя были матадорами. До чего забавно, в дальнейшем женщины-педагоги выходили замуж за акселератов. Стоит отметить, в каждой новой школе Магадана, Екатеринбург, Челябинска или Самары я попадал в класс таких вот грандиозных детей.

Потом был факультет журналистики, как его пренебрежительно называли студенты-археологи, чьи занятия проходили в соседнем корпусе, факультет пропитых голов. Мы не отставали, прозвав археологический факультет факультетом забытых вещей. Раздевалка у нас была общая, вечно там встречались потерянные рукавицы, шарфы, ключи, разное другое, принадлежащее будущим египтологам, любителям Шумер, Ассирии, Месопотамии. Примерно на то время пришлось мое увлечение тридцатыми годами, преимущественно репрессиями. Я стажировался в одной ныне закрытой и признанной вредной организации, что занималась возвращением утраченных имен. Имен расстрелянных диссидентов, священнослужителей, людей, попавших в лагеря по доносам соседей, покусившихся на чужую жилплощадь. Вероятно, та журналистская работа стала

основополагающей, определив направление, в котором я стал развиваться. Поразительно, сколь много мистических потрясений перенесли жители моей страны. Помнится, работал над серией очерков о снах, посещавших арестованных граждан.

У нас получается какой-то вечер удивительных историй с вами, в самом деле. Ни в коем случае не хочу никого грузить лишними подробностями. Однако, раз уж мы заговорили о профессии, о первых шагах в этой профессии. То следует возвратиться к воспоминаниям о той первой серьезной работе, проводимой мною не столько в рамках учебной практики, но в рамках некоего социокультурного проекта. С которым я связал собственную жизнь. Кремовая портативная машинка марки «Любава» едва не упала на ноги с антресолей, а вы говорите, не вас я сейчас грузю подробностями. Себя чуть не зашиб. Машинописные листы разлетелись по полу. Я достаю специально для вас эти артефакты из прошлой эпохи. В тот год по всему миру случился массовый скачок напряжения, а еще попадали спутники с небосклона, зашибив ненароком сограждан. Благородные китайцы пообещали восполнить дефицит компьютеров, прочих электрических приспособлений в течение года. Нас обучали журналисты старой школы, я бы сказал, школы церковно-приходской. Мастодонты, способные беспробудно пить, а потом с бодуна выдавать тексты, после которых читатели рыдали, как мой отец, слушая по радиоприемнику Петра Ильича Чайковского, в частности, «Времена года. Октябрь». Поэтому возвращение к этому советскому способу набора текста воспринималось нами вполне обыденно. Помнится, каждый из нас обзавелся диктофоном, кассетным таким диктофоном.

Я беру один из машинописных листов. Сон Александра Михайловича Якшенкова, одна тысяча девятьсот восемнадцатого года рождения. Офицера, отозванного с фронта в сорок третьем году для окончания инженерного факультета военной академии. Его арестовали в сорок четвертом по доносу о высказываниях в адрес властей. И приговорили к десяти годам заключения, освободили в пятьдесят третьем. Александр Михайлович вспоминает о том, как в лагере развелось чудовищное количество грызунов, преимущественно на продуктовых складах и пищеблоках. Якшенков рассказывает, как однажды дежурил ночью в амбулатории, прилег на топчан и задремал. И приснился ему сон о нападении крыс, они разорвали ему живот. Проснувшись, мужчина вскочил, сунул руки в карманы своего бушлата. Из карманов принялись выскакивать мышки, стали бегать по кабинету. Сновидение и пережитое настолько впечатлило Александра Михайловича, что тот объявил грызунам войну. Он брал на пекарне буханку горячего хлеба, делал из него шарики, которые посыпал порошком крысида. И разбрасывал данные шарики, значит, повсюду. А недели через две повара заругались, в столовой из подполья несет смрадом. Пришлось гражданину туда лезть. А потом закапывать сотни тушек. – Зато крысы и мыши пропали из лагеря, так-то, – заканчивает свой рассказ Александр Михайлович.

Закуривая сигарету, сижу посреди комнаты, в руки попался другой лист. Воспоминание принадлежит Инне Шихеевой-Гастер. Инна Ароновна родилась в двадцать пятом году, ее родители были арестованы в тридцать седьмом, соответственно, сама женщина являлась дочерью врагов народа, как бы нелепо это ни звучало. Арестовали Инну Ароновну в сорок девятом, накануне защиты диплома, приговорили к пяти годам ссылки в Казахстане как социально опасного элемента. Освободили, а также амнистировали в пятьдесят третьем. В камере Шихеевой-Гастер приснился такой сон. Будто стоит она на допросе в комнате следователя, мужчина сидит за столом. И вдруг женщина начинает плевать с зубами с кровью прямо в него, плюет, а у нее все новые и новые зубы во рту появляются. От страха проснувшись, Инна Ароновна немедленно рассказала о сновидении своим соседкам по камере, атеисткам-коммунисткам. Те лишь сказали: о, это дурной знак, очень дурной знак!

Пепел падает на бирюзовый ковролин, сизый дым. Совершенно случайно я обнаруживаю среди десятков чужих видений фрагмент очерка о гражданине из расстрельной бригады. Очерк об отце нашего декана, что стрелял в затылки на Бутовском полигоне. Упитанного, пожилого человека, совершенно несносного. Такого же несносного, как безумная Грета на картине Питера Брейгеля. Вы могли слышать пословицу, если есть две Греты в доме, то лающая собака не нужна.

Образ сварливой Греты в некотором роде рифмуется со средневековым образом святой Маргариты, согласно преданиям, судьба несколько раз сводила Марго и повелителя мух. И вы знаете, она его победила, кажется, даже связывала. Таким образом, от победительницы самого повелителя мух до сварливой старухи через комическое снижение недалеко. После каждого дождя на лице декана начинали произрастать все новые и новые грибы, напоминающие сморчки. – Ты, ублюдок, – крикнул он, повстречавшись в коридоре альма-матер, – да как ты посмел копать под меня! – Накануне в московском «Октябренке» вышел мой текст, наделавший немало шума в журналистских кругах. И вот мы повстречались с этим человеком с багрово-сизым носом, тройным подбородком, всеми этими сморчками на бугристом лбу. На улице самый разгар лета, совершенно чудесная пора, чудесная, словно возможность зарабатывать литературным трудом. Декан, видя мою незаинтересованность в разговоре, дурнеет, хватается за ухо. Представьте, каков сюрреализм, впрочем, я готов за себя постоять. Мы боремся, как два цирковых медведя. Слышится оглушительный свист, появившиеся нектары дружинники заламывают мне руки. Пятнадцать суток ареста, в камере появляется военком и со всей ответственностью заявляет о необходимости взять академический отпуск и примерить гимнастерку.

Служба проходила на Дальнем Севере. И порою я грущу о нем, о той чудовищной вьюге, снежной пыли в час ночной, когда нет возможности открыть окно в своей лачуге, ведь в бункере попросту отсутствуют окна. И остается только жадно слушать потрескивания в эфире. Войска химической и биологической защиты, документы о неразглашении, продовольствие сбрасывается раз в три месяца с вертолета. Моя прекрасная будущая жена, которой так не хватает во дне сегодняшнем. Моя прекрасная, словно эскимосская сказка, жена. Сказка о человеке с двумя супругами, одна рожала детей, вторая была бездетна. И каждой лунной ночью бездетная выходила на берег из своей землянки, песней звала мужа-кита. Приплывающего кита, она кормила мясом и поила молоком. Из носа кита выходил мужчина, и женщина спала с ним. Однажды человеческий муж проследил за ней, он убил кита. Однако супруга успела забеременеть и родила китеньша, односельчане вырыли яму с водой близ речки. Клара писала мне письма, когда я служил в армии. Представьте, вчера наткнулся на них в чемодане, большом желтом чемодане времен юности моих родителей. Я вспоминал, как запутавшись в сумерках ее кожи, брел наугад по каптерке, с криками просыпался от того, что мою руку схватила чужая рука, оказывалось, моя. И первая и вторая и даже третья мои руки. В письмах бесконечно много любви, там встречается предощущение скорого счастья. Но что такое счастье, мне решительно непонятно, так же как и непонятны причины нервных срывов супруги, эндокринная система, что-то еще, психиатры сами толком не знают. Я позволяю себе прочесть одно письмо, написанное убористым почерком на желтом тетрадном листочке в клетку.

Люблю тебя неразборчиво, у нас неразборчиво, но ты не думай, я поставила им условие. В следующем году, когда ты приедешь, мы будем неразборчиво. Мне досталась квартира от бабушки, мы можем продать ее, а потом добавить деньги, что ты накопил. Еще я научилась готовить неразборчиво, вряд ли ты когда-нибудь ел неразборчиво. Прошлое письмо, сказали на почте, было утеряно, директор почты принес глубочайшие извинения, это как-то связано с твоей частью. Что-то там секретно, как будто я выпрашиваю тайны. Милый, про тебя все говорят, мама на прошлой неделе купила газету неразборчиво, там вышла большая статья о тебе. Какой-то профессор утверждает, расследования, которые ты проводил, явились почвой для будущих исследований в области репрессий. По меньшей мере, два отечественных и пять западных институтов заинтересовались твоими текстами. Папа, ты же знаешь, какой он черствый сухарь, впервые за все время нашего с тобой знакомства выразил одобрение. Может показаться странным, но неразборчиво, возможно, из этого парня получится что-то хорошее, сказал он. Я не знаю, когда ты получишь мое письмо, судя по твоим намекам у вас полгода ночь, полгода день. И лето всего лишь месяц. Что на мне надето, какое белье, чем пахнет моя кожа в жаркий августовский полдень, о всех подробностях читай во второй части письма. Целую неразборчиво, надеюсь, столь эротические рассказы пройдут цензурную комиссию. Фотографию себя обнаженной, к сожалению, не разрешили при-

слать, только ту, где я в одежде. Надеюсь, в ближайшее время тебе дадут отпуск и мы увидимся, дорогой мой человек.

Призвали меня на три года. Однако благодаря внештатной ситуации, возникшей в одной из лабораторий, расположенной в нашем славном бункере, срок пребывания в армии сократился до полугода. Иными словами, вырвавшийся на свободу, подобно тому как некогда ретро-вирус иммунодефицита человека вместе с другими ретро-песнями, к примеру, песнями Фредди Меркьюри, Майкла Джексона, вырвался и захватил мир. Зараза, что совершила стремительный рывок, поразив до глубины души личный офицерский состав, а также секретный поселок, расположенный в ста километрах от места нашей дислокации. В общем, начался сущий кошмар по части заболеваемости. Вирус назвали кошачьей бациллой по причинам весьма деликатным, по причинам, как бы удачно выразиться. Зачумленные граждане испытывали непреодолимую тягу к валерьянке. Кошачья природа, завладевшая телами моих сослуживцев, изрядно пугала лаборантов, облаченных в желтые костюмы химической защиты. Я видел расширенные от непонимания глаза сквозь стекла шлемов. Наша рота громко мяукала, кидалась на членов комиссии, приехавших специально из Москвы. Острые коготки солдат весьма волновали ученых, в бункере произошла всамделишная катастрофа, подобная Кыштымской аварии, по крайней мере, в таком ключе писали в дальнейшем газетчики. И никто из руководства не мог понять, что же делать. Были высказаны предположения, но все они казались настолько идиотскими, казалось, проще законсервировать объект, а подвергшихся пагубному влиянию кошачьей бациллы затравить собаками.

Видно, жизнь уготовила иную судьбу для нашего брата, вашего шурина, сына материной подруги, верного своей Родине кузена, товарища по словоблудию, мастера прелюдий, страстного любовника, в конце-то концов. Минувшие двадцать четыре часа принесли некое облегчение, симптомы пропали, мальчишки могли выражать свои мысли, о, чудесное ощущение, подумать только. Нас повели в душевые, и мы искреннее удивлялись, радовались, что вода уцелела на свете. Еще недавно для нашей роты был печален приход рассвета, словно сходжение на станции ненужной. Теперь же нас всецело занимали обычные вещи, к примеру, прогулка по скрипучему снегу в минус тридцать пять, стакан холодной воды с привкусом хлорки, отжимания до головокружения, головокружение, голоса офицеров, глупая песенка под расстроенную гитару. Командование замяло столь неприятное происшествие, в срочном порядке мы подписали соответствующие бумаги. Потом стали готовиться к поездке домой. Высшими чинами было решено списать нас в запас, чтоб никто не уволок. По приезду мы расписались с женой. Денежное довольствие, выданное прапорщиком, скоротечно закончилось. Клара забеременела. Я вернулся в журналистику, перевелся на заочную форму обучения. Случилось семейное бытие, случился алкоголь, много чего случилось. Случился сон, во время сна моя душа сходила на разведку, потом вернулась, сообщив, не бойся, Коля, там неплохо.

А потом я встретил Семена Сикорского, директора первой российской службы по фиксации и контролю паранормальных явлений. В моей жизни появилась некоторая стабильность, по крайней мере, финансовая сторона вопроса перестала беспокоить. Если говорить о сегодняшнем дне, считаю важным упомянуть свое место службы. Благодаря которому так получилось, что мы вновь повстречались с Мишей Токаревым и я даже не сошел с ума, представьте себе. И понял одну вещь: в конце концов, сходят с ума не от того, что уходит жена, или увольняют с работы, или умирает любимая кошка. Сходят с ума, видится мне, когда ранним утром завязывают шнурки на ботинках, а шнурки неожиданно лопаются. А потом ты решаешь вдруг заняться соцреализмом, а на дворе стоит, сидит, лежит лето. И какой тут соцреализм, вздор. Времена соцреализма прошли, пора идти на рыбалку. Или, допустим, ехать по путевке в Пятигорск. Я лежу на полу, подложив руки под голову, вокруг разбросаны машинописные листы, письма супруги, печатная машинка «Любава», желтый чемодан матери, пепел. Потолок заволочло туманом, слышится вечерний плач ребенка, проживающего наверху, его мать пытается петь колыбельную, ходит с малышом на руках, скрипят половицы. – Сережа, у меня ПМС, посиди с Гришей! – кричит она жалостливо супругу. Мужской голос ей отвечает: а мне завтра в СНТ ехать рано, дом строить, Люда, я должен

зарабатывать деньги, пойми меня. Их голоса стихают, ушли в другую комнату. За окном идет медленный, словно соседский ремонт, снег. И капли коготками стучат по подоконнику, в сугроб, изъеденный оспой, глухо приземляется и верещит соседский ребенок. – Что ты наделала, что ты наделала, дура! – дико вопит Сергей. В квартире наверху кто-то бежит, хлопает входная дверь.

### **В девятой главе все те, кто смог пробиться через массив текста, увидят место службы героя нашей темени**

Когда сталь устала от своей зернистости, а воробьи от голосистости, а письмо от речистости, тонкие руки китайца продолжали неумоимо держать горячее солнышко. Стоит сказать, офис нашей службы располагался в гараже номер четыре гаражного кооператива «Рябинушка». Данный кооператив по нелепой случайности приватизировала китайская диаспора. И для местных жителей, весьма консервативных, не склонных к принятию разнообразия великого и могучего русско-китайского диалекта. И для местных жителей, глядящих с нескрываемым ужасом на десятиэтажные гаражи, что скрипели, покачиваясь при сильном ветре. И для местных жителей начались веселые времена. Впрочем, если так рассудить, как нашим согражданам веселиться в условиях, когда психический террор повсеместно, начиная с детского садика. Не буду манную кашу, ах, не будешь, получи выговор с занесением в личное дело. С пометкой: инакомыслие, ближе мама, чем папа, верит в деда мороза, говорит, что хип-хоп это музыка для молодых.

Офис первой российской службы по фиксации, а также контролю паранормальных явлений занимал первые два этажа гаража номер четыре. Соседи, те, что справа практиковали китайскую медицину, пивяки, продавали всевозможные деликатесы. Все эти личинки тутовых шелкопрядов, маринованные куриные лапки, засахаренные пятачки свиней. На неизвестном языке шкворчали сковороды, и раскаленные капли масла сложились на стене в профиль Мао. И длинные ножи летали журавлями в этих чудных закусочных и ресторанах башни, надстроенной над третьим гаражом. Жильцы близлежащих домов называли оккупированный гаражный кооператив с некоторым презрением: япона мама. Но все-таки, влекомые экзотическими товарами, они заглядывали сюда по большим праздникам. Надевали темные очки, парики, беспрестанно озирались, боясь опозориться перед знакомыми. Дескать, что же вы, в такую клоаку поперлись.

Мы сидели на офисных стульях друг против друга, словно Клинт Иствуд и этот, второй, словно два самурая из фильма Куросавы. Нас разделял черный лакированный стол с красным ноутбуком. Едва уловимо в комнате пахло духами, сакурой, а еще, знаете, йодом. Ко всему прочему, кофейный дух блуждал по комнате. А еще, а еще наша секретарша Акира успела с утра пораньше сжечь не одно благовоние. – Я надеюсь, ты в деле, Коля, съездишь? – спрашивает Семен. Розовеет его лоб над заснеженными бровями. После злополучного удара током Сикорский полностью поседел. Рыбкин всегда готов к тому, что река словес номинального руководителя, кстати, откуда финансы, где стулья, где деньги. Хитрый Карл, простодушный Маркс, ответьте, будьте любезны. Рыбкин готов произнести: да. О, после такого да река словес коллеги наводнит поместье, смоев овец, и собака с жалобным лаем, связанная, как пуповиной, цепочкой со своей будкой, отчаянно будет грести в бесплотных попытках не потерять трезвый ум, ясную память. Сикорский зыскивал да, словно гопник зыскивает в подворотне сострадание.

Николай говорит, закашлявшись: да. Сикорский закуривает электрическую сигарету, откинувшись в кресле. На нем синяя рубашка поло, за его спиной на вешалке серый плащ тренч. Стены офиса обшиты поролоновыми конусами для звукоизоляции. Звукоизоляция не очень-то и помогает справиться с роем огненных слов, беспрестанно мечущихся по всему китайскому кварталу. Коллективный китайчонок Ли держит в тонких руках красивое солнышко. Голубоватое, приглушенное освещение, подкова бороды Семена напоминает квадратную скобочку, за ней следует икс во второй степени. Сикорский человек трудно решаемый, размышляет на польском, говорит на русском, подразумевает поверхностное натяжение. Рыбкин знал о дотационных государственных

средствах, правда, не мог представить себе, каким образом в сметах и договорах их контора проходит. Между тем Коля был осведомлен о спонсорах-читателях, именно Николай писал статьи для сайта, его рубрика называлась: попрошу без рук, товарищ полтергейст. Также два областных телеканала, что временами транслировали реальные выезды Семена и Рыбкина к гражданам, подвергнувшимся паранормальному воздействию, неплохо платили. Помнится, недели три тому назад мы взяли оператора, корреспондента, отправились на вызов рыбака. Собрались все деревенские, показывают нам червей дождевых, страшное дело, полные трехлитровые банки. Телевизионщики снимают, значит, этих червей, а у них лица младенцев. И важное уточнение позволю себе сделать, выше по течению реки находится родильный дом. А в родительском доме, представьте себе, проводят запрещенные Богом, а также действующим законодательством аборт. Скандал, какого не видывали со времен дела врачей. Для любознательных граждан, граждан, заинтересованных в деле врачей, посоветую книгу Владимира Дудинцева, называется она «Белые одежды». Словом, деревенские жители выдвинули теорию, до абсурдности восхитительную теорию об абортированных малышах, что вынуждены на данном этапе развития уползать в землю за ненадобностью. А после рыбак Андрей выкапывал несчастных Анжел, Оксан, Максимов, Галин, сажал их на крючок и ловил рыбу, а потом присмотрелся, да ужаснулся. Среди нас был видный биолог, сумевший доходчиво объяснить, черви еще не Анжелы, Оксаны, Максимы. А всего лишь животные подцарства многоклеточные, просто с лицами младенцев. Подобным образом сигара порой всего лишь сигара и ничего больше, знаете ли.

– Слетаешь, привезешь его, плевое дело, ну, понадобился Миша Токарев людям, есть на него запрос, – говорил Сикорский, почесывая указательным пальцем с золотым кольцом в виде змеи вострый нос. Его оливково-зеленые глаза, как у родственницы гадюки реснитчатой куфии, не мигая, следили за руками Николая Спартаковича. Руки Николая Спартаковича клацали кубиком Рубика, сувениром из квартиры женщины Плюшкина. Помнится, звонили соседи запасливой гражданки, слезно просили: дяденьки, приезжайте, у нас казни египетские, тараканы kota утащили. – Тогда, Коля, покупаю билеты, два обратных, для тебя и литератора этого, с открытой датой, договор? – спросил Семен, делая краткий глоток из своей серой кружки с охотниками за привидениями. Токарев, Токарев, задумался на мгновение Рыбкин. Вероятно, поездка в Иркутск, где по агентурным данным тамошних телевизионщиков находился поэт, на чьих книжках выросло не одной поколение нулевых и двадцатых. Вероятно, поездка могла обернуться крошечной катастрофой. Не рядовая была поездка, рабочей командировкой даже не пахло. Рабочая командировка пахла, полагал Николай, вареными яйцами, лапшой быстрого приготовления, плацкартным вагоном. Сколько же лететь до Иркутска, часов шесть, размышлял Рыбкин. Возникнут ли сложности, сможет ли он справиться с литератором. Избежит ли его челюстей, лязгающих в опасной близости от моей собственной шеи. Сумеет ли укрыться от взгляда на две тысячи ярдов. Николая Спартаковича терзали сплошные сомнения.

Внезапный интерес граждан к литератору. От малышей, впервые заметивших, как осыпалась пустая, прозрачная схема с веток электрических деревьев по осени в сложном лесу. До старушенций, познавших, что луковое море, в сущности, лишено слез. Был вызван крайне занятыми так называемыми изысканиями в области психиатрии. Некая художница, страдающая от крошечной бессонницы, лечила недуг в частной клинике неврозов. И на очередном приеме сомнолога дамочка сообщила о гражданине, что в редкие минуты беспамяත්ства посещал пациентку. Специалист предложил художнице изобразить ночного визитера. Портрет отличался географической точностью, в левом глазу представленного мужчины бурлил Тихий океан, а в правом не бурлил Атлантический. И даже шрамы на лбу, если соединить их по контуру, напомнят очертания Монголии. Рисунок был забит на столе доктора. И следующий пациент невзначай увидел его. Не смог совладать с эмоциями, воскликнув: я видел этого человека во сне, видел! Портрет гражданина спешно размножили на принтере, да разослали по неврологическим отделениям, сумасшедшим домам, частным лечебницам всей страны. Результат несколько ошеломил. Восемьдесят процентов опрошенных видели Мишу Токарева во снах один и более раз. А некоторые встречали поэта

живую, где-нибудь в очереди, в аптеке, в библиотеке, где-нибудь встречали. – Договорились, заказывай билеты, – произнес Рыбкин, облизывая пересохшие губы.

Семья Николая частенько переезжала. И пусть впервые Коля узнал о поэте в Припяти, нелзя было сказать, что другими сочинителями мальчик совсем не интересовался. Ему встречались иные писатели в Омске, Калининграде, Дубне. И встречи эти проходили, как правило, в краевых библиотеках. И писатели ходили друг на друга, словно постановления совета министров СССР. И говорили они патетично, да глазки закатывали, читая с придыханием свои стихотворные строчки. И никого не хотел бы обидеть Николай Спартакович. Однако тому, маленькому Николаю Спартаковичу отчаянно не хватало в литературе Токарева, подобного ста граммам спирта медицинского, выпитых залпом, когда сидишь ты на лесной опушке на поваленной сосне. А рядом порхают, а рядом летают букашечки, бабочки и мошкара. – Одна фармацевтическая компания заплатила хорошие деньги, не гематошки, как в прошлый раз, это исключено, за эфир с Токаревым, – Сикорский устался на каштановую дверь с плакатом, на котором были изображены агенты Дана Скалли, Фокс Малдер, истина где-то рядом. Секретарша по имени Акира с кем-то болтала по телефону в приемной: послушай, дорогая, отдыхать, как роженица между схватками, времени нет, он же уйдет, сейчас же поезжай к той бабке. – Привезешь, он свои рассказы почитает, на вопросы зрителей ответит, о том, почему всем снится, расскажет, – Семен говорил с некоторым пренебрежением. Впрочем, неудивительно. За два года работы нашей службы по-настоящему неизъяснимое встретилось единожды.

То были времена развода, очередного срыва, душливой весны. Насколько свежи в памяти воспоминания о том вызове, свежи ли. Да, поступивший вызов был заурядным и напоминал яичницу на завтрак. Семья: мама, папа, дочка, шумный дух. Ночные хождения, мокрые следы. Дочь страдала лунатизмом. Я уехал от них под утро, показалась странном, что за ребенком не догадались проследить. Быть может, родители боялись осуждения общества, ведь следить за детьми прерогатива Сливко Анатолия. На следующий день звонок от них же, ситуация любопытней. Дрожание шкафов, столов, стульев. Ложки, вилки, тарелки, ножи, все падало на пол. Вызвали геодезиста, оказалось, дом стоит на древнем захоронении, почва подвижна. У меня крики жены по телефону, язык заплетается, не язык у меня, сыр-косичка. Завалился к школьному другу, переночевал на диване вместе с двумя кошками. Утром звонок, та же семейка. Выезжаю, выпил немножко, что-то близкое к мерзавчику виски. Захожу к ним в квартиру, точно друг семейства, они рады видеть, подносят чашку кофе и круассаны. Странные звуки в ванной, как будто кто-то бесвязно поет. Сток забит волосами, надеваю перчатки, беру крючок на пружине для прочистки. Прядь черных волос. Мама, папа и дочка, все рыжие. Волосы никак не кончаются, пение не утихает. Вы знаете, метров сто волос, будете смеяться, напоминают экзотических змей, воспетых некогда Гумилевым. Вероятно, поймав кураж, я тянул и тянул, как репка тянул почтенного деда. Как Изольда Карловна тянет двоечника Петрова, ибо девятый класс, аттестат, общий ребенок. Имеем полную ванну волос, вообразите себе, какая-то нездоровая ерундистика.

Спустя пять мерзавчиков и пачку сигарет, выкуренных прямо там же на месте. Слой волос неожиданно стал доходить мне до пояса, перелившись через край ванны, волосяное море удивительным образом заполнило собою все пространство. Приглушенное пение напоминало обрядовые песни, еще по малолетству я слышал такое у бабушки, проживающей в Бурятии. В неопределенный момент волосы пришли в движение. Подобно грибнице, что связывает сотни грибов. Этот волосяной организм развивался, как яйцеклетка, долго, занудно, волшебю. А самое главное, почувствовал на интуитивном уровне, организм обладал разумом. И все, на что я был способен, это снимать на телефон inferнальные танцы, торжество хтони, праздник, на котором средневековые юродивые, покинувшие лепрозорий, целуют вас нежно, лезут с объятиями. Помню смутно, закричал, однако мерзопакостное шупальце проникло в меня, заполнило собой все горло, стал задыхаться. Из глаз хлынули слезы. Не к месту вспомнил учебник биологии, мужчина в разрезе, гортань переходит в трахею на уровне шестого или седьмого шейного позвонка, к чему бы этот экскурс в школьную программу. Быть может, перед шагом в бесконечность мы



думаем о науке. Волосяное море впитало меня в себя, как пятнышко нефти, как Дмитрия Ивановича Писарева, утопшего в Рижском заливе, впитал, собственно, Рижский залив. Свет померк, послышались нестройные аплодисменты.

Обнаружив себя в лечебнице, в некоторой степени был удивлен создавшейся ситуации. Жена подала на развод, увезла детей в неизвестном направлении. Я лежу в наркологии под капельницей. Вы спрашиваете у меня, как обстоят дела с волосами, с волосами-то как обстоят дела. Отвечаю, отчего не ответить. Я ушел в штопор, побил возмущенного отца семейства. Видимо, ему крайне не понравилось, когда курят у него в ванной, о, мне понятно его недовольство. Никотин все-таки токсичный алкалоид пиридинового ряда, и как многие алкалоиды в малых количествах оказывают лечебное действие, а в больших ядовит. Наверное, бдительный отец семейства почувствовал, что в ванной комнате выкурили целую пачку сигарет, а это, извините меня, наглость. Ко всему прочему, напугал его супругу и дочь, которые стали громко рассуждать о том, каким образом удалось крокодилу переварить солнце. Смешно вспоминать, но позже я умудрился поддаться с другим алкоголиком, не сошлись в вопросах литературы. Сосед по палате ставил творчество Солженицына существенно выше творчества Шаламова. В частности, называл произведения Александра Исаевича достоверней по части жизни в трудовых лагерях. Представляете, какой абсурд. Проведя положенные всем сознательным гражданам двадцать один день в специализированном учреждении, вернулся в дивный, старый мир. Детей с тех пор я слышал только по телефону, где вы теперь, мои телефонные детки.

– Семен, – сказал Рыбкин, – покупай билеты, лечу сегодня, надо успеть собрать вещи. Сикорский хлопнул по столу, произнес: вот это правильно, чего тянуть, завтра уже будешь в Иркутске. Николай Спартакович не двинулся с места, словно эклектика в архитектуре, обреченная топтаться в прихожей мировой культуры, повторяя различные формы искусства прошлого. Нечто невыразимое занимало мужчину в тот момент. Секретарша с диковинным именем Акира уподобилась железному Феликсу, она кричала на кого-то: мы не можем быть вместе, я это ребенок, обласканный тьмой, а ты, Вася, всего лишь водопроводчик, работающий с восьми утра до полудня, мы несовместимы, пойми! А ведь и правда, несовместимы, пронеслось в голове у Коли. Он сказал Семену, прищурившись: думаю, после этой командировки я возьму отпуск недели на три. Коллега ничего не ответил, кивнул, его пальцы стучали по клавиатуре ноутбука. Рыбкин поднялся из-за стола, не прощаясь со своим сослуживцем, спустился по винтовой лестнице, очутившись в приемной. Там секретарша с черешневыми губами, широкоскулая, в зеленом спортивном костюме, наматывая на указательный палец черный телефонный провод, слушала, должно быть, послания с обратной стороны луны. Белые волосы, прическа гарсон, сиреневые веки, словно лепестки астры. Она сидела в оранжевом кресле с деревянными подлокотниками. Приглушенный свет настенного бра. Девушка прикрыла рукой динамик черной эбонитовой трубки, сказала: вы опять опираетесь на меня всем своим дыханием, какой вы сегодня красивый, Николай Спартакович. – До свидания, Акира, всего вам доброго, – грустно улыбнувшись, произнес мужчина. И вышел в дверь, обитую красным бархатом для красоты и загадочности.

На прилегающей к гаражному кооперативу территории было шумно. Повсюду звенели диковинные запахи. Рыбкин шел мимо прилавков со специями, корица, гвоздика, сычуаньский перец. Сережки, в которых сидели живые черепашки. Чудовищно, подумалось Коле. Освеженные туши крокодилов покачивались на крюках. Говорят, крокодиловый жир применяют при лечении кожных заболеваний, Николай ничего не знал об этом. Щербатый азиат в фиолетовом пуховике разговаривал по громоздкому телефону с антенной: очень не понимать твою это ревность, Марин, очень не понимать. Растаявший снег хлопал под ногами. Теплый мартовский воздух был приятен, словно переход к массовому машинному производству товаров из естественных и синтетических материалов, а также созданию конвейерных производственных линий. И небо ясным взглядом смотрело на молодеющий божий мир. Коллективный китайчонок Ли не проявлял ни малейшего интереса к Рыбкину. Китайский квартал успел проникнуть в поры, успел погладить маринованной куриной лапкой по волосам. Николай сливался с окружающей средой и пятницей,

как истовый хамелеон. Забреди сюда случайный человек, неминуемо растерзали бы дикие восточные торговцы электроники, еды, снадобий. Прошлогодняя война с Вьетнамом существенно измотала обитателей Рябинушки. Рынок в соседнем районе, принадлежащий вьетнамцам, извечная вражда, мирская суета и копошение в межличностных отношениях порой выматывают не хуже городской контрольной. А фаянс наших нервных систем крошится от малейшего: я тебя ненавижу.

Николай Спартакович проходил мимо борделя. Призывно красного гаража. Начиная с третьего этажа и до самого шестого вместо передних стенок были вставлены затемненные панорамные окна. За ними пританцовывали, двигая бедрами в такт неслышной музыке, азиатские дамочки в пеньюарах. Неоновая вывеска не горела, к вечеру, когда стемнеет, загорятся кислотно-зеленые иероглифы, означающие: любовь с первого взгляда. Нимфы с белыми фарфоровыми лицами призывно приподнимали подолы своих атласных платьев, демонстрируя, как на уроке биологии, собственные пестики. Они знали, что есть их красота, они знали цену этой красоте, оглушительной красоте, словно февральская революция. Поговаривали, у каждой обительницы дома терпимости был припасен маленький нож, бывало, своенравные девицы резали клиентов, не сумевших уверовать в даосизм. Коля вышел на подъездную дорогу, вызвал такси. Пока ждал машину, он увидел группу военнослужащих, что направлялись в сторону борделя. Ребята весело болтали, называли имена: Гуанхуй слишком груба, мне нравится Анхэ, хотя Дай Лу тоже ничего. Их было четверо, их сердца, возможно, таили в себе раритетные тайны. Их форма была элегантна, форма морской пехоты. Черные кители, тельняшки, береты, в руках спортивные сумки с вещами. Напрашиваясь на элементарные случайные связи, они чрезмерно рисковали, временами китайский квартал, подобно чтению книжек за авторством Томаса Пинчона, способных развеселить ребят с тяжелыми формами депрессии. Временами китайский квартал был занятным уголком, поговаривали, тут царила работорговля. Проигравшиеся граждане, забредшие сюда по великой ошибке, вынуждены были шить в темных подвалах одежду. Да, по слухам прямо под Рябинушкой пролегла разветвленная сеть подземных коридоров, что вели в швейные цеха.

Один из парней с обветренными щеками, кирпично-красными, широкой боксерской шеей, с рыжими усами, как у моржа. Крикнул девчонкам своим богатырским голосом: барышни, предусмотрена ли скидка для участников тайваньской кампании? Рыбкин поглядел на китайнок, их лица сделались крайне серьезные. Одна из них с глазами цвета липового меда, с набухшими лимонными веками воскликнула: о, солдатик, для тебя у меня припасен лишний час! Наш ограниченный контингент прямо сейчас активно помогал отстаивать интересы Китая, поэтому обитатели Рябинушки к военнослужащим относились весьма благосклонно. – Прапорщик Баратынский, – произнес его коллега с лопухими ушами, овсяными баками, – немедленно прекратите смущать, понимаешь, женщин легкого поведения! – Товарищ майор, я боюсь возвращаться, вдруг на меня направит свой автомат противник, вдруг он выстрелит из своего автомата, – проявил слабость худосочный, шафранно-смуглый боец. Ему тут же страстно возразил иной служивый, паренек со звонким хулиганским голосом и тремя глубокими шрамами, проходящими через все лицо, как от когтей тигра: отставить упаднические настроения! К мальчишкам, косолапая, подошла дама в летах, азиатка в розовой шубе с черной брошью из оникса с золотой лицевой дзы, означающей удачу. Ее бесцветный голос, напоминающий кочевую жизнь оленевода. Ее маленькие пурпурные губы, напоминающие крылышки фиолетового шмеля-плотника. – Я рада приветствовать дорогих защитников, наши скромные покои к вашим услугам, – произнесла она, указывая васильковым веером с алым драконом на светло-каштановую резную дверь. Безымянный умелец с помощью метода фрезеровки украсил дверку сакурой, деревом подсемейства сливовых.

Николай Спартакович сел в подыхавший желтый автомобиль. В каком желтом доме разыскивать Токарева, Коля совершенно не знал. Водитель имел женский род, словно ночь. Ее затылок, ежик черных волос, в зеркале заднего вида глаза цвета комедии Аристофана. Она напоминала коммунальную квартиру, не знаю, отчего в голову пришло это сравнение. Быть может,

общество проституток и эти морские пехотинцы, в общем, не сердчайте, ввел в заблуждение. Ни на какую коммунальную квартиру женщина водитель не была похожа. Пришло сообщение от Семена: появились новые данные, тебе нужен академгородок, вылет в девять вечера, пожалуйста, не облажайся. – Ой, только сейчас посмотрела на конечную цель маршрута, у меня подруга тоже проживает возле платформы Лианозово, – сказала женщина за рулем, вырывая на шоссе. В салоне пахло перечной мятой, грейпфрутом и соляжкой. Вас обслуживает: Персефона Ивановна Веснянка. Прочитал в приложении такси Коля, не сдержав улыбку. – А что вы радуетесь, ничего хорошего не вижу, страна в огне, – пожурила гражданка, объезжая польхающего буддиста в желтых одеждах, что сидел в позе лотоса близ обочины. – Вот зачем они это делают? – нервно спросила Веснянка, зажигая габаритные огни. Автомобиль миновал синее кафе «Дюймовочка», повернул направо, едва не слетел в кювет. Персефона Ивановна водила так себе. – Мне видится, все дело в протесте, режим вьетнамского президента Нго Динь Зьем себя испырал окончательно и бесповоротно, – предположил Николай, потирая ушибленный лоб. Женщина не стала лезть в политику. Впрочем, спустя минут десять она неожиданно спросила: вы помните такую журналистку, Ирину Вячеславовну Славину, она тоже себя сожгла? Николай Спартакович прекрасно помнил коллегу из Нижнего Новгорода. – А все потому, что живут люди так, будто до них никто не жил, – оценка Веснянки весьма расстроила Колю, он даже хотел стукнуть женщину. Однако сдержался, и остаток пути они ехали молча вдоль рваных ран, мимо изумительных мук, по безмолвному воздуху, над немymi волнами.

Возвратившись домой, Рыбкин отчего-то разволновался. Николай прохаживался по своей квартире-студии, двухъярусное жилище, доставшееся при размене их трехкомнатной квартиры, славилось своими скромными размерами. Редкие тараканы, мигранты из жилища напротив, принадлежащего равнину, всерьез обсуждали возможность эмигрировать куда-то еще, порой их шепот раздавался в ночи. Нервировал. Мужчина чувствовал, как в его сердце, точно в боксерскую грушу, стучат маленькие кулаки. За окном шел медленный, словно соседский ремонт, снег. Николай Спартакович достал из шкафа кожаную дорожную сумку. Ему вспомнились старинные Мишины строки о предметах первой необходимости, которые следует взять в дорогу дальнюю уважающему себя журналисту. Весенний воздух с острова Ольхон, душераздирающее пение из-за стены вернувшегося с войны в конце девяностых мужчины, вкуспельменей в столовой возле художественной школы города Ангарска, куда мать приводила перекусить после занятий, опять же в конце девяностых. Нужно было достать где-то палатку, ружье, вьюки, седла, рекомендательные письма, приготовление к путешествию порою труднее самого путешествия. Впрочем, шутки в сторону, подумалось мне, судьба Барри Линдона, уготованная многим нашим современникам, претила, хотелось бы, конечно, чтобы поездка прошла как можно спокойней.

На стене, выкрашенной черной краской, висели фотографии обнаженных девиц, каждая из них сидела на остановке, прикрыв глаза, все они, кажется, спали, снимки были соединены красными нитками. Пометки мелом, способные сообщить что-то, сообщали что-то. Месяцев пять назад Николай Спартакович попал в прелюбопытнейшую историю. Перестав закладывать за воротник, он столкнулся с беспросветной тоской. Родственной тоске, что испытала некогда его жена, посмотрев кинофильм Джима Джармуша «Мертвец», повествующий о мистическом путешествии бухгалтера Уильяма Блейка в компании одного индейца по имени Никто по Дикому Западу к Тихому океану. Рыбкин ездил на группы анонимных алкоголиков, писал статьи, изредка садился в машину, когда не спалось. Колесил по ночному городу, высматривал чего-то. Посещал кинотеатры, показывающие порнографические картины, кинотеатры работали с полуночи до шести утра. Мне там встречались несчастные граждане с нарушениями сна. Ничуть не обуянные похотью, страстью, люди сидели на своих местах, их полузакрытые глаза, слюна в уголках ртов. Мы все коротали время, коротали время, коротали время. Слонялись по вымышленному городу Каркоза, куда по заверениям писателя Амброза Бирса попадает душа, которая была в нас точно дитя, отнятое от груди. Мы были вынуждены повторять одни и те же действия, которые некогда совершали, живя земной жизнью. Снова и снова, снова и снова.

Однажды на пересечении улицы Партизанской и проспекта Ветеранов, там девы вдоль ночных аптек торговали своим естеством. Николай Спартакович высмотрел одну барышню. Перуанская девушка Моника плюхнулась на заднее сиденье. Густые брови, похожие на престелную речь. Они начинались тонко, изящно, потом сбивались с пути. Верхняя губа несколько коротка и слегка обнажает ряд зубов, мадмуазель как будто всегда улыбается. Загорелая кожа, присущая женщинам Рима. Прищуренные янтарно-зеленые глаза, в уголках которых едва заметны морщинки. На ней короткое платье цвета мякоти грейпфрута. Каштановые волосы заплетены в косички. На светофоре, на безлюдной улице она перелезла на переднее кресло, положила ладонь с короткими розовыми полумесяцами-ногтями на колено мужчины. И голос ее был глубоким и прохладным, словно колодец. Она говорила о цифрах, спрашивала, находит ли Николай ее симпатичной. А Николай очень даже находил. Однако не испытывал вот этого плотского желания, он просто хотел, чтобы Моника гладила ему голову, чтобы он уснул у нее на коленях. Они болтали о чем-то совершенно незначительном, о каких-то перуанских шаманах, о ценах на бензин, о жизни на чужбине, об учебе на факультете, где изучают психиатрию. Николай Спартакович нуждался в общении, телесная близость интересовала мужчину не в первую очередь. Но девушка настояла, верней, напросилась к нему в гости.

Они слушали пластинку, ансамбль электромузыкальных инструментов под управлением Вячеслава Мещерина. Композиция называлась «Воздушная кукуруза». Горячий кофе обжигал губы. Ментоловый дым ее сигареты клубился по комнате. Платье Моника задралось, боже, я надеюсь, подумал Коля, там не просто пестик, но что-то божественное. Не может этого быть, не должно все сводиться к постели. Барышня встает из лимонного кресла с деревянными подлокотниками, садится на кровать рядом с мужчиной. Чуть слышно горит ночник, его желтоватый, восковой свет лепит из предметов церковную утварь, вспоминается приснившийся Мишин текст о том, как он гостил в Перedelкино, жил в гостинице для писателей. Да, что-то про церковную утварь. Жгучее дыхание барышни на щеке, тонкие смуглые пальцы расстегивают его рубашку. Она издает полустон, неуловимо движение, платье струится на пол. Николай Спартакович слышит запахи ее тела, солоноватый пот, имбирь, сандал. Полусумрак вечера питал желания, поскрипывала кровать. И вся она была шелестом реки, шуршанием джунглей. – Сильнее, – попросила Моника, когда руки Николая сомкнулись на девичьей шее. Должно быть, досадная случайность, во всяком случае, Рыбкин и сам не заметил, как гостя перестала дышать. Барышня казалась раненной нашим временем насмерть, ее бездыханное тело таковым казалось. Коля подошел к окну, прильнул своим лбом к прохладному стеклу. Ситуация складывалась паршивейшим образом. Сбилась с пути, то есть встретился с женщиной, заключил он.

Решение пришло внезапно, словно криминалистам однажды пришло внезапно решение использовать генетическую дактилоскопию в своих расследованиях. Николай Спартакович, путаясь в складках ночи, вынес гостью на ближайшую троллейбусную остановку. Весь путь он внутренне говорил себе: ловите меня, дурачки, другого шанса не будет. Желая быть пойманным с поличным, Рыбкин полтагал: искупить злодеяние, свершенное им, возможно лишь на электрическом стуле, куда его приведут сознательные граждане. В ином случае остановиться мужчина не сможет. Середина мая, в соседнем дворе шумит компания, горланит песни, ранит звуками девственную тишину раннего утра. Мужчина взвалил дамочку на плечо, подобно тому, как волк взваливает себе на хребтину загрызенную овцу. На самой остановке Коля с удивлением посмотрел на полуобнаженную Моника, казалось, барышне стало жарко, раздевшись, она решила вздремнуть. На пустынном шоссе, вдалеке журналист приметил синие, мерцающие огни. Рыбкин достал телефон, решая позвонить в скорую, но вместо звонка мужчина делает снимок своей новой подружки. Он стремительно покидает перуанскую красотку. Возле кинотеатра «Родина» сознательный гражданин заходит в телефонную будку, набирает ноль три. Говорит голосом хриплым: обнаружена девушка по адресу Малая Морская, дом десять, кажется, она не дышит, приезжайте, пожалуйста, чтобы разобраться в этом непросом деле.

Фотоснимки девиц на черной стене Николая Спартаковича. Обнаженных девиц, восседающих на остановках. Китайнок, африканских обольстительниц, скандинавских обширных женщин. География существенно расширилась, в общем зачете пятнадцать подобных случаев, произошедших по всему городу. Рыбкин уверен, у него появился самый настоящий подражатель. Впрочем, Николай не знает наверняка, а перешла ли Моника в качественно иное состояние по его вине. Следующие за вышеописанным инцидентом недели Коля активно читал прессу, выискивал упоминания о перуанской девчонке. И пустота была ему ответом, была ли мадмуазель вообще. Маленькое расследование, затеянное Рыбкиным, совершенно не отвлекало мужчину от основной работы. Давнишний знакомый, что служил в криминальной канцелярии, Григорий Племянник, охотно делился подробностями новых дел. Единственное, что по-настоящему терзало Николая Спартаковича, это невозможность вспомнить те ночи, когда он мучился с бессонницей и колесил по городу.

### **Десятую главу попросили включить первые рецензенты, она повествует о Семене Сикорском, охотно включаю**

И мы были все теми же перелетными птицами из этого мира на тот. А Семен Сикорский, электрик немаленького разряда, не мог ответить с определенностью, близка ли ему политика апартеида. Однако это нисколько не мешало ему пить немецкое пиво, переписываться с братом из Украины, ездить в Израиль на отдых, а также водить японский автомобиль. Стояла, сидела, лежала бархатная погода. Середина лета, шушукалась листва. Кварцевым утром Семен Сикорский, выпив чашку кофе, поцеловав сонную жену, спустился во двор. Он сел в свою машину, завел двигатель, включил магнитолау. Из магнитолы заструилась девичья песня: а мы пойдём с тобою, погуляем по трамвайным рельсам, посидим на трубах у начала кольцевой дороги, нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода, путеводною звездой будет желтая тарелка светофора!

Семен ехал по улочкам, подавившимся зелению. И размышлял, в речи жены слишком уж много вопросительных знаков, он же предпочитал многоточия. То ли разница в пятнадцать лет, то ли все дело в пропозиции, экстрапозиции, во всех этих семейных штучках, о которых толкуют психологи. В последние месяцы супруги как будто стали отдаляться друг от друга. Казалось, совсем скоро мужчина будет не в силах переносить ее речевые обороты, ее фонетика перестанет его удовлетворять, а фразеология попросту доведет до ручки. Сикорский ехал в область, в дом престарелых. Была, есть, будет суббота. И гражданин, встроившись в плотный поток машин, поплелся к старикам на выручку. В салоне работал кондиционер, но это ничуть не спасало от духоты. Мужчина снял красную фланелевую рубашку, оставшись в одной белой футболке. Третьего дня ему исполнилось сорок пять. У него наличествовал взрослый сын от предыдущего брака. Баскетболист, получающий сплошные неуды в институте, молчаливый, словно вождь из книги Кена Кизи, в общем-то, добродушный увалень. Пробка была печальна и близка к концепции картезианства. Электрик немаленького разряда подумал: надо бы в воскресенье повидаться со своим ребенком, со своим двухлитровым ребенком.

Справа в желтом автомобиле-жуке сидела старуха в розовой кофточке, с завитыми седыми волосами. Она напоминала директрису техникума. Семен много лет вынашивал под языком признание в том, что это он по великой случайности некогда сжег родной техникум. Пальцы Сикорского барабанили по рулю. Серая легковушка впереди меланхолично сдвинулась на полметра. Мужчина надавил на педаль газа. Еще впереди, ряда через два кто-то отчаянно сигналил, как будто увидел эсеров. Кстати сказать, а какие я разделяю взгляды, чья политика мне все-таки близка, размышлял с азартом Семен. Белые, анархисты, большевики, черносотенцы, сложный вопрос. Легковушка сдвинулась еще на полметра. Старушечья с длинным, словно пятьдесят с лишним лет, что Владимир Иванович Даль посвятил составлению словаря живого великорусского языка. Старушечья вот с таким носом уснула. С маленькой нижней челюсти стекала тонкая ниточка

слюны. Сикорский сравнил челюсть особы с челюстью птички. Сзади нетерпеливо посигналили дважды, мужчина поспешил нагнать серую легковушку. Сема живо представил, как соловей вьет себе гнездышко при помощи веток и слюны и разного сора. Автомобилисты за бабушкой распознали в ней злостную прогульщицу, они кричали, высунувшись из окон машин: вы там уснули, что ли, это какое-то издевательство! Мужчине вспомнилось, как его ругали в техникуме за опоздания, а он отвечал, поникнув: а меня бабушка не разбудила, что вы от меня хотите.

Наконец удалось миновать мост. И съехать на проселочную дорогу. Вишневый капот японского автомобиля превратился в плавник, фары сделались рыбьими глазами. Город плавно перешел в темно-зеленую реку. В воздухе-киселе Семен заметил черные зернышки слепней. Медленно подъезжая к стоянке, Сикорский стал свидетелем того, как из двухэтажного кирпичного дома с крышей-одеялом выводят стариков на прогулку медсестры. Припарковавшись возле розового фургона, мужчина вышел в мир этот. Из багажника он достал желтый ящик с инструментами, стремянку. – Мамамы, – шутиво поклонился Семен. Отметив, до чего крупные груди у медсестер, должно быть, кушали много капусты, плутовки. Меж берез бегали галопом бабочки, цвела сирень, гудели пчелы в цеху. В красной обшарпанной бочке плавал жук-плавунец. Сикорский, быстро поднявшись по лестнице, вошел в дом престарелых. По наличию мха безошибочно определил, где находится распределительный щиток, обесточил этаж, обесчестил когда-то директрису из техникума.

Электрик немаленького разряда принялся чинить в коридоре проводку, мы не сильны в терминах, в асбестовой изоляции, в чем-то ином, не знаем технических подробностей, однако чинил, чинил. У основания стремянки крутились старушки. Голоса старушек напоминали скрип двери в игорный зал, когда они еще не были запрещены. И целые индейские племена теряли свои земли по вине игорных магнатов, покусившихся на чужое. А Семен был не в силах противостоять одноруким бандитам. – Я заказала у деда мороза целый мешок лекарств, – проскрипела некая гражданка преклонных лет. – А я думаю, умирать дважды нельзя, – поделилась соображениями другая барышня. – Девочки, лето благостной боли, постижения печального света, никогда уже больше не будет такого же лета, – выразила опасения их подружка. Отчего-то Семен помнил эти строчки Риммы Казаковой. Их любила его собственная бабушка, доярка. Меж тем совершенно непримечательный старичок, значительных дел не свершивший, ветеран труда, любитель котиков etc. Шел мимо распределительного щитка, напевая обаятельно: отцвели уж давно хризантемы в саду. Дедушка, не удержавшись, вернул ток в стены дома полимеров. Ответка Семена Сикорского соприкоснулась с оголенной проводкой, чудовищное дело.

В результате чего электрик немаленького разряда получил удар, сопоставимый с ударом, нанесенным Первой мировой войной по Османской империи, вынужденно распавшейся в дальнейшем. Он полетел со стремянки под радостные возгласы старушенций, не ведающих стыда. Видимо, те ложно приняли Семена за Вифлеемскую звезду, решив загадать желания. Глаза гражданина, решившего помочь старикам, раскрывались, как цветки поутру. А над мужчиной маячили сморщенные, маленькие лица ангелов. Ангелы лопотали на неизвестном языке чрезвычайно важные вещи. Пронзительно пела мошкара. Рты ангелов были напоены причудливыми ароматами мятных леденцов, испорченного мяса, лавандовых духов, лекарствами.

Обнаружив себя в больничной палате госпиталя Марии Терезы, Семен воскричал: чего же вы хотите, ангелы, я перестал слышать вас! Сикорскому несказанно повезло, проведя неделю в больнице, он был благополучно выписан за неимением серьезных повреждений. Кариес на двух зубах и подозрение на язву не в счет, с такими недугами у нас берут даже на воинскую дружбу. Жена Семы в свою очередь улетела на заслуженный отпуск в Ялту, а поседевший мужчина отправился на больничный. Он стал больше нервничать и уподобился той женщине из типографии, что бежит со всех ног на работу, пугая коллег. Коллеги ошеломлены поведением тетеньки, в чем дело, вопрошают они. Та вчитывается в собственный текст. И знаете, действительно, находится опечатка в слове Сталин вместо литеры Т литеры Р. А времена повсюду советские, представьте, каков уровень стресса у женщины.

Электрик немаленького разряда подвергся метаморфозам, напоминающим метаморфозы, некогда произошедшими с гражданкой Болгарии, Вангелией. Шла вторая неделя домашнего заточения. Семен увлеченно глядел сериалы и фильмы. По телевизору показывали советскую кинокартину «Доярки». Внезапно воздух в комнате как будто наэлектризовался, температура упала, иней заблестел на окнах. На экране крупный план, вымя коровы, кадр не меняется, как хронические алкоголики. Вымя набухает, словно ледник талой водой. Влекомый непостижимым желанием, Семен подходит к телевизору, опускается на четвереньки. Прильнув губами к электрическому вымени, Сикорский жадно пьет молоко. По его волевому подбородку, усыпанному белой хвоей, струится молочный продукт. Молоко чрезмерно густое, желтоватое, во вкусе читаются по слогам ноты шиповника, сорной травы. Семен ощутил, что комната стала герметичной, точно гробница в египетской пирамиде. Электрик почувствовал, он ощутил, его постигло чувство. Чувство, похожее на то, что Семен испытывал в детстве у бабушки. Когда после обеда забирался на теплую печку, а за окном гремел гром. И он засыпал беззаботно. И снился ему кукольный театр, что приезжал к ним в детский сад. И снились ему стихи, прочитанные импозантным господином во фраке: открыв наук зеленый том, я долго плакал, а потом закрыл его и бросил в реку, науки вредны человеку. Всей группе выдали по мандарину, а также мешочку фундука. Стояла, сидела, лежала дождливая пора. Маленький Сема с рыжим котом в обнимку сомлели на печке.

Электрик немаленького разряда приходит в себя на полу, по телевизору передают белый шум. Рядом засохшая молочная лужа. Красные от слез глаза-цветы. Мужчина бредет в ванную, заходит, снимает одежду, включает холодный душ. Флегматично думает, поливая себя: гены, во всем виноваты гены, вот и догнали спустя столько лет. По рассказам бабушки, мать Сикорского в период беременности кушала мухоморы. То было времечко свободной любви, конец семидесятых, начало восьмидесятых. Мать Ванда несколько отбилась от рук бабушки. Она взяла в медицинском институте академический отпуск. Уехала в Симферополь, дикарями жили, упивались вином, купались голыми ночью, воровали клубнику и виноград. В сложившейся обстановке, когда лето любви сменилось осенью сожительства, определить отца Семена не представлялось возможным.

Однажды Ванда пришла на день рождения Семена, мальчику исполнилось пять лет. Она важно сказала: сынок, твой отец Бог, а братья и сестры все люди земли. Мать как раз попала в одну небезызвестную секту, потом пропала вовсе. Сикорскому десять, она объявилась. Восславляет Кришну и агитирует Семена восславлять. Они гуляют, кушают мороженое, мчатся на каруселях. Сема вспоминает вокзал. Мамины друзья лысые, на лбах у них красные точки. С ними весело, на ощупь у них головы как бархатная бумага. Они угощают горячим шоколадом из автомата. Говоря, что все поедут в Индию, а мальчика возьмут с собой. Семену не страшно, мама рядом, держит за руку. И вдруг на вокзале начинается неразбериха, откуда-то появляется бабушка, кричит о ребенке, которого не отдаст. Мамины друзья успокаивают родственницу. Юный Сикорский с мамой прячутся в вагоне поезда. Юный Сикорский теперь боится, с бабушкой не хочется расставаться, все-таки не чужой человек. Мама гладит по голове и становится покойней. Глаза слипаются, закрываются, как цветы на ночь. Снится Индия, река, по ней плывут граждане в цветастых одеждах. Юный Сикорский думает во сне, зачем же в одежде, неудобно ведь. Потом просыпается, рядом какие-то мужчины в серой форме, спрашивают имя, фамилию, возраст, есть ли прививки от дифтерии, коклюша, столбняка.

Семен, который электрик немаленького разряда, сидит на полу перед засохшей молочной лужей. Вспоминает, когда созванивался с матерью крайний раз. Вероятно, месяца два назад, она была в коммуне хиппи близ Аризоны. Семен был не в силах вместить какую-то небывалую грусть. Он поднялся на ноги. Настенные часы с котиком показывали семь утра, черный хвостик шагал влево, вправо, влево, вправо. Соседи сверху шумно выясняли, кто поведет ребенка в садик. Термометр на балконе, на улице тридцать выше нуля. В комнате, наверное, минус, изо рта вылетает облако пара. Сикорский думает: а ведь стоять существенно страшнее, чем лететь. А могу ли, неуверенно размышляет электрик немаленького разряда. Затем подходит к открытой форточке на кухне, подпрыгивает и летит, летит.

Над школой, домами, ритуальным агентством. И все кажется ему как бы составленным из коллективных, чужих воспоминаний. У ломбарда танцует, накинув на плечи голубые занавески с ромашками, субтильная госпожа утро. Ей удается с завидной регулярностью сбежать в одно и то же время из сумасшедшего дома имени Федора Арсеньевича Усольцева. Пролетая меж училищем и голубятней, Семену подумалось: увольюсь, определенно, увольюсь. И то ли серые голуби, все такие глупые и свободные, воркующие на своем диалекте. То ли студенты-химики, до безобразия молодые, шутливые, сподвигли Сикорского. Словом, он решил: увольняюсь. И, перейдя на бреющий полет, направился к месту своей службы. Над станцией Новые Черемушки, над цыганским поселком, ларьками, где продают веники для бани, центральным рынком, гастрономией, магазином с охотничьими побрякушками. Над бабушкой в черно-белом сарафане с гвоздиками, что вела внука за ручку. Внук упирался, у мальчика были вымазаны зеленкой колени. – Бабуль, я хочу кушать, – жаловался бледнолицый отрок. – Андрюша, так надо, сейчас комарик укусит, а я тебе за это бутерброд с докторской колбаской, да еще, знаешь, какую конфету, ты такой никогда не пробовал, – увещевала бабушка. Семен улыбнулся, вспомнились строки любимого исполнителя сына баскетболиста: большие трагедии в маленьких вещах, ты позавтракал, а кровь надо было сдавать натошак.

Подлетая к розовому корпусу отдела кадров и бухгалтерии, Семен увидел свою начальницу. Обширную даму, с крупными, словно горести, вызванные, скажем, войной третьей коалиции, когда Франция, Испания, Бавария, Италия сошлись на поле брани с Россией, Великобританией, Австрийской империей, Швецией и Неаполитанским королевством. Вот с такими крупными губами, буйным нравом, пятью бывшими мужьями. Клавдия вышла из такси, Семен в домашнем льняном аквамариновом халате опустился перед руководительницей. – Сикорский, – воскликнула удивленно женщина в джинсовом платье. – Клавдия Вадимовна, я решил уволиться, – решительно произнес мужчина. Светило яркое солнце. Губы оведала странная сладость. Может ли губы что-то овеать, с мечтательной улыбкой размышлял Семен, глядя на голубое и чистое, словно язык Ивана Бунина, небо. Клавдия о чем-то говорила, вполне вероятно, выясняла мотивы. До Сикорского долетало: я не понимаю, двадцать лет службы, лучший специалист. Семен с удивлением приметил у Клавдии Вадимовны в руке целлофановый пакет с зелеными конфетами «Ромашка». С каким-то детским озорством он попросил: Клавдия Вадимовна, угостите, пожалуйста, конфеткой. Начальница, протягивая весь пакет, недоуменно сказала: бери, конечно, может, зарплату тебе поднять, так поднимали в прошлом году. Кленовый листок, сорвавшись с ветки, спикировал на капот старенького желтого запорожца. – Ладно, Сикорский, если твердо решил, иди в отдел кадров, – сказала с великой грустью в голосе начальница. Истекающим взглядом электрика немаленького разряда Семен поглядел на отдел кадров. Неожиданно для присутствующих: Клавдии, белочки, что кушала фундук на капоте старенького желтого запорожца, близ кленового листика, – чмокнул начальницу в щечку, вошел в розовое здание, написал заявление по собственному желанию, а не по щучьему велению. И стал глядеть на мир взглядом безработного, сорокапятилетнего Семена Сикорского. Домой мужчина доехал зайцем на трамвае, взлететь отчего-то не удалось. Видно, подвела вера в собственную правоту.

Рыбкин звал чудную легенду о появлении службы по контролю и фиксации паранормальных явлений. Согласно легенде, поведенной секретаршей Акирой, Сикорский в день своего увольнения, приехав домой, скинул халат, голенкой взял ножницы. Три дня и три ночи Семен медитировал. Он включил в ванной струйку воды и принялся нарезать ее. В процессе своей медитации Сему посетили духи рождества, они-то и посоветовали гражданину оформить себя как индивидуального предпринимателя. Николай Спартакович был известен Сикорскому прежде всего как талантливый журналист, переживающий не лучшие времена. Можно сказать, бывший электрик был почитателем Колиного таланта. Читывал с превеликим удовольствием статьи Рыбкина. Сема находил эти статьи не просто любопытными, но в определенном смысле пророческими. Как он признавался Николаю позже, после знакомства, журналиста поцеловал в маковку дух, по меньшей мере, Трумэна Капоте. И кто знает, быть может, Коля получит когда-нибудь Пулит-



церковскую премию, если страна разглядит как следует его в тени прочих заметных журналистов нашего времени. Скажем, Юрия Фокина, Льва Озерова, Юрия Левитана.

На первой их встрече в рюмочной Сикорский принял таинственный вид. Надел черный кожаный плащ, на шею у него висела на цепочке козья лапка, красные линзы в глазах добавляли образу некое сходство с вурдалаком. Однако, распив на двоих определенное количество горячительных напитков, посовещавшись, мужчины отменили концепцию балагана для только зарождающейся службы по контролю и фиксации паранормальных явлений. – А еще, – попросил смущенно Рыбкин своего нового коллегу, – перестань использовать в речи эту кухонную латынь, отныне никаких мemento мори, а только лишь любо. За соседним столиком шумная компания бритоголовых, крупных, словно индийское музыкальное произведение, имеющее название: Океан деяний Рамы. И длящееся сто тридцать восемь с лишним часов. За соседним столиком сидели подобные, крупные граждане в стильных кашемировых костюмах, песочных, темно-голубых. Местный музыкант Николай Воронов играл самозабвенно на синтезаторе. Белая рубашка, серая жилетка, синяя бабочка, скобы на зубах. Кудрявая голова, очки. Он пел о нежности: фруктовое, нежное, со вкусом йогурта придет после грусти, тоски и опыта, страдания и печаль с клубничным оттенком, и ты опять уходишь зачем-то, зачем-то. Еще за соседним столом восседал представительный грузинский мужчина, он был подобен республиканцам, что сдерживали под городом Герника наступление мятежников генерала Франко. В руках у него была чашка с кофе, он поглядывал на Сикорского с некоторым подозрением. Бульдожий подбородок, мясистые щеки, аспидно-черные волосы, зачесанные назад, блестят. На лунообразном лице притаились два костра-глаза, в которых горела старая мебель, хворост, а еще Джордано Бруно за собственную ересь.

Умеренная обстановка в любое мгновение могла обернуться охотой на ведьм. Чаепитием совершенно не пахло, группа продленного дня ушла партизанить в леса. Я поглядел вокруг, увиденное мне категорически не понравилось. Нас окружали бандиты. К нашему столику подвалил гражданин с угловатыми чертами лица. Целлюлоза его слов неприятно шуршала. Должно быть, он мнил себя уникальным человеком, подобным первой в мире атомной станции, построенной в пятьдесят четвертом году в славном городе Обнинск. – Вас приглашает на разговор дед Хасан, – вяло произнес гонец. Я спросил машинально: чей дед? Николай Воронов принялся петь свою белую стрекозу любви, сказав перед этим: а теперь я завершу свое выступление песней, которая спасла не одни отношения. Простые, словно стихи Уолта Уитмена, чувства вызывал Семен, отчего-то я сразу понял: за внешний вид, не соответствующий гордому званию пионера, сейчас нас хорошенько побьют. – За такие вопросы, – как будто в подтверждение моих мыслей незнакомец приподнял свою розовую рубашку. Мы увидали рукоять пистолета. – Идем, пацаны, солдат ребенка не обидит, – сказал фронт с лошадиными зубами, в которых застрял пшеничный колосок, или то был кусочек салата. Я подавился воздухом, точно землю. Взгляд впалых полуночных глаз посланца смутил, закашлялся сильнее. Семен похлопал по спине, из глотки вырвалась рыба голова, бог ты мой, подумалось, до чего волнительно. Мы все обескураженно уставились на деталь шпротины. – Это самое, дед Хасан желает с вами поговорить, – глупо повторил ординарец. Мы одновременно поднялись с моим сослуживцем из-за стола.

Стоял прямо, руки по швам, как на рентгене. Дед Хасан исподлобья поглядывал на Сикорского, размешивая чайной ложкой сахар. Человек шесть из окружения гражданина спешно удалились перекурить. – Что у тебя с глазами, сынок? – спросил монотонным голосом представительный мужчина. Сизая рубашка была растегнута на груди, виднелись непокорные черные волоски. – Всего лишь линзы, нет поводов для беспокойств, – торопливо начал оправдываться коллега. – У меня был знакомый, что на обратной стороне век наколот портрет отца и своей первой девчонки, чтобы, закрывая глаза, помнить, – произнес месье, жестом приглашая нас к столу. Официантка в малиновом брючном костюме и белой футболке с опасением выглянула из-за барной стойки. – Меня зовут Аслан, – представился он. В его голосе была печаль. Печаль, достойная трагедии, произошедшей в семье Берберовых в восьмидесятом году, когда лев, проживающий в обычной квартире с людьми, показал свою дикую натуру и прикончил их сына. – Семен Сикорский, дирек-

тор первой службы по контролю и фиксации паранормальных явлений, – коллега пытался произвести впечатление. Рыбину даже показалось, что ни к чему сейчас впечатлять этого господина с увесистыми золотыми перстнями на пальцах, как бы им не пришлось потом впечатлиться ночью на торфяном болоте. И найдут наши тушки чрез столетия потомки, разместят под стеклом в музее для красоты. Я сидел справа от деда Хасана, на столе находились всевозможные блюда. Утка по-пекински карамельного цвета, хрустальный графин с красным вином, бутерброды с черной икрой, колбасные нарезки, салатика, холодец.

– Эта история, словно вскрытая устрица-ранка на моем сердце, на которую капают лимонным соком, – сказал Хасан, и мы обомлели. Не ожидая встретить подобную тонко чувствующую натуру в этой рюмочной, где по пятницам раздаются выстрелы. Рюмочной с идиотским названием: Леонардо, дай винчик. – А в чем, собственно, дело, товарищ? – спросил Семен. И мне стало несколько стыдно за пьяную развязность сослуживца. Неудобно на нас посматривали крупные мужчины, выстроившиеся, как на утреннике, у самого выхода, заложив руки за спину. Их было человек десять, я распознал в них самых настоящих отморожков. Мое расследование о женщинах, обнаруженных на остановках, в дальнейшем приведет именно в эту рюмочную. Впрочем, событие, о котором я имею честь вам рассказывать, произошло существенно раньше встречи с Моникой. – Мы искренне не понимаем, зачем вы пригласили нас, – заныл я, словно подросток в период закипания гормонов, а в распоряжении только атлас человеческого тела и страшная сыпь на лице. – А в чем разница между понятием и пониманием, как вы считаете? – Аслан как будто играл с нами. Мой коллега взглянул на него, сказав: я знаю, что вас беспокоит. От подобных слов я совершенно ошел, Семен казался в то мгновение каким-то старцем, повидавшем на своем веку множество необъяснимых штук. – Нет-нет, молодые люди, у меня праздный интерес, вот эти, как вы сказали, линзы, вся эта готика, она не заразна, просто мои внуки, кажется, подверглись тлетворному влиянию? – дед Хасан был всесторонне развитой личностью. По крайней мере, первое впечатление, сложившееся второпях, оказалось ложным. Вероятно, сказывалось советское образование, гражданин, пригласивший нас разделить с ним ужин, являлся непростым, словно решение часового у Николая Лескова спасти утопающего. Таким непростым являлся гражданин. – Вы знаете, подростки, подобно птицам по весне, позабывших о всяком приличии, удовлетворяют свои естественные надобности, превращают ваш сад и ваши леса в дома терпимости, – сказал глубокомысленно я. – Вижу отчетливо то, что не дает вам покоя, уважаемый, – вновь произнес мой коллега. Он закатил глаза и водил, как наступающий экстрасенс перед собой рукою, должно быть, считывая информацию прямо из космоса.

– Как вы думаете, хороший ли я человек, а то вопрос воспитания в последнее время особенно стал меня заботить? – лукаво улыбаясь, спросил Аслан. – Мне кажется, вы хороший человек, потому что не застрелили нас, – не остался в долгу я, откусывая от бутерброда солидный кусок. Свет над барною стойкой погасили. В зале не осталось людей, лишь мужчина-голец с лошадиными зубами, в розовой рубашке курил у окна. – Вы остроумны, но поймите мою встревоженность будущим собственных потомков, по большому счету, нынче такое время, когда все высмеивается, можно сказать, подрастающее поколение находит себя в сомнительных компаниях, – сказал господин. – Вижу за вами женщину лет сорока, один у нее глаз голубой, другой черный, – утробно произнес мой коллега. Резко встав из-за стола, он вдруг рухнул на пол и затрясся всем своим телом. Конвульсии продолжались минут пять. Мы совершенно ничего не предпринимали, продолжая степенно вкушать это удивительное вяленое акулье мясо. Наконец Семен пришел в себя, громко икнув, он поднялся на ноги. В опостылевшем поведении Сикорского угадывалась некая психологическая травма, возможно, перенесенная им вследствие удара током. К тому времени мне была известна его работа электриком и события, предшествующие нашему знакомству. – Так вот, Аслан, женщину зовут Хемида, она принадлежит к знатному езидскому роду, сейчас Хемида пребывает в мире духов, однако сто пятьдесят лет назад она была жива, – поделился своими видениями Сема. – Хм, – нахмурился дед Хасан. Я с удивлением заметил, что его глаза, как и у хищников, расположены на передней части головы, точно у лисы или волка, надо же.

С улицы послышалась ругань, следом хохот, загорелся фонарь. – Ваш эксцентричный товарищ, кажется, увидел мою прабабку, обладавшую неординарными способностями, признаться, впечатлен, – сказал Аслан. И было странно видеть его растерянность. В очередной раз отметил, сколь тонко чувствующий человек пригласил нас на ужин. – Как вы сказали, называется ваша организация? – спросил гражданин. – Служба фиксации аномальных явлений, – услужливо подсказал я. – Интересный поворот событий, в последнее время мне частенько попадаются на глаза собственные двойники, подозреваю, родственница, связавшись через вас напрямую со мной, хочет предостеречь о чем-то, – говорил, размышляя, Аслан. Сикорский налил в бокал вина, сделал глоток. Потянувшись к осетинскому пирогу, сказал: именно, ваша родственница исповедовала суфизм, ее сила была велика, Хемида сообщила мне, вам следует исключить в ближайшую неделю из своего окружения, может показаться странным, но. – Говорите же, что но, что но, – поторопил Семена наш новый знакомый, погнув от нетерпения вилку. – Мне было велено передать вам, в общем, не знаю, как сказать даже, – кокетничал коллега. Пришлось вмешаться, промелькнула мысль, сейчас же застрелят, не хватало еще холодного лета пятьдесят третьего. – Семен Сикорский, я требую, чтобы вы сию минуту же сообщили, что вам передала Хемида! – закричал на него, уплетая восхитительную конскую колбасу, я. Дед Хасан поддержал меня, сказав нетерпеливо: ну же, говорите, немедленно говорите! – Имя пришло, Марат по фамилии Хаджи, ваша родственница попросила перестать иметь с ним дела, – выпалил на одном дыхании коллега, потянувшись к блюду с лобстерами. – Женя, выдели из общака мальчикам денежку для поддержания малого бизнеса, да, дела, дела, – обратился Аслан к гражданину в розовой рубашке. Тот с готовностью подскочил к нашему столу, сказав подобострастно: конечно, не извольте беспокоиться, опять этот Марат, ох.

На улице стемнело. Во дворе рюмочной, у памятника Льву Толстому пылились нахохлившись голуби. В трех джипах сидели обширные мужчины из окружения Аслана, они смеялись, о чем-то спорили. Увядаящая улыбка лета, томный шелест листвы, середина осени. Мы вышли на деревянное крылечко, зарядил мелкий дождь. Наш покровитель в сером плаще, с шелковым золотистым шарфом на шее шумно вздохнул. – Идите к своей цели, друзья, а не за пивом, – произнес он. И в следующее мгновение произошло нечто непоправимое. Я услышал приглушенный хлопок, затем еще один. И Аслан принялся заваливаться на моего коллегу. На груди мужчины стремительно расцвели два мака. – Откуда стреляли? – нервно закричал человек из окружения деда. Телохранители озирались, пистолеты в их руках готовы были начать плеваться раскаленными осами в любой момент. Двор наводнили мужицкие крики. – Чердак дома, Далил! – Садо, черный ход! – Не дайте уйти! – Гиви, быстрее к деду! На руках Семена Хасан испускал дух. – Башир, звони в скорую! Сикорский поглядел на темно-голубое небо, произнес печально: полетела, жаль, но полетела.

На Юрьев день состоялась та знаменательная встреча. И ноябрьские заморозки вынудили всех окрестных кошек перебраться в дома сограждан. О, не сограждане выбирали кошек, но кошки сограждан. Эти времена успели прозвать в учебниках обществознания великим кошачьим исходом. Составители учебников особенно уделили внимание неестественному поведению хвостатых. Ведь всем известно, кошечка ни в жизнь не пойдет на жилплощадь к подонку. Но вопреки данному предубеждению, кошек видели в компании отцов, что не платят алименты своим детям. А еще, помнится, бывшая жена Клара сообщила, что у сына ко всему прочему дислексия. На что я заметил: а у кого-то волчанка. И то и то неприятно, словно скрип пенопласта, словно размер пособия по безработице на пятый месяц бесплодных поисков нового места службы. Стоит заметить, заметь, подчиненный деда Хасана Женя выполнил волю своего начальника, некстати преставившегося. И наша служба, пусть и не опасная, однако трудная, получила свои первые денежные средства от Аслана и его фонда, именуемого в народе общаком. Что же до неординарных способностей Семена, коллега как-то растерял их стремительно. И сдается мне, слава богу. Ведь сложно представить даже степень ответственности, ложащейся на его плечи.

**Глава за номером одиннадцать является главой за номером одиннадцать и ничем большим, это всего лишь литература**

Весеннее дыхание нашей великой Родины все так же начисто смывало след перегара. Рыбкин воспоследовал примеру весны, а также в очередной раз доказал гипотезу: алкоголь мне не нужен, алкоголь это яд. Поэтому он заказал себе два компота, вишневый и грушевый. В данной гипотезе присутствовал еще незначительный хвостик, я мюсли, следовательно, существительное. Однако столь неблагонадежное утверждение отчего-то воспринимается, во всяком случае, людьми образованными, с неким пренебрежением, стоит заметить, заметить. Выметать веником за скобки таких граждан, не верующих в чудеса, так говорил Семен Сикорский. Ведь граждане, которые верят во всю эту магию, полтергейстов и заряженную воду есть электорат благонадежный. Иметь с таким электоратом дела одно удовольствие. Впрочем, вернемся к Николаю.

Из трех люстр «Колизей» горела та, что посередине. На длинном зеленом ковре, в узор которого угадывались космические корабли, Коля подметил две сиротливые горошины. Мужчина с присущей для мужчины импозантного, можно сказать, франта, игривостью слегка поразмыслил над тем, чего же он ожидает от встречи с литератором. Необычайная желтизна присутствовала в световом напылении. Ромбовидная плитка, коей были покрыты все стены, и та казалась ломтиками сыра Чеддер. Николай растегнул две пуговицы шерстяного бордового джемпера, подумал, достать ли из дорожной черной сумки шарф, не достать. Однако ворот голубой водолазки пока еще согревал шею. Отчего-то над зоной выдачи пищи серенький кондиционер делал это самое, дул, развивая синие, красные ленточки. Рыбкин сделал маленький, миленький глоток вишневого компота, горло тотчас обожгло холодом. Грушевый компот не был удостоен внимания.

Николай Спартакович, сидя за столиком в столовой с чудным названием «У гиппопотама», в этом тесноватом и глуховатом денечке, достал бумажник горчичного цвета. Фотография младшей дочери. Прошлой ночью, еще в самолете приснилось, как объяснял ей, почему на православном кресте нижняя переключина находится под углом. Почему же, почему, никак не мог вспомнить Рыбкин, хотя во сне объяснение отличалось академическими формами, восточной смекалкой и какими-то логарифмами. Николай поглядел в окно-витрину, там шел косой дождь вперемешку со снегом. Зрение не обрастало подробностями долгое время. Внезапно взгляд различил желтое пятно останков, силуэт человека, вполне вероятно, с красным и синим пакетами. Рыбкин вернулся к своему кошелку, как возвращаются иной раз папанинцы. В отделе для мелочи лежит особая монета, Николай достает, кладет монетку с цифрой шесть на ладонь, всматривается напряженно, шумно сглатывает слюну. Шесть месяцев трезвости, бесконечность не предел, думает с улыбкой Коля. И делает глоток грушевого компота, что выдался несколько слаще компота вишневого. Однако, как говаривал Токарев, груши не хуже собак. Почему-то в юности Рыбкина это безумно забавляло, папа Спартак никак не мог понять, в чем же, собственно, дело. – Папа, у них внутри косточки, этим они похожи, – терпеливо объяснял малолетний Рыбкин. – Как скажешь, сынок, я тебе полностью доверяю, – говорил родственник и уходил за хлебом. Отец к тому времени открыл свою хлебопекарню. К сожалению, она вскоре закрылась, как и многие предприятия, затеянные папочкой.

На серой скатерти перед Николаем стояла зеленая пиала с гороховым супом, тарелка с макаронами по-флотски, салат из опять и лисичек, в хлебнице три кусочка бородинского хлеба. Мужчина подцепил вилкой дольку лука. Засмотрелся на старинные линогравюры над входной дверью. Белка с орешками, зайчики в трамвае, медведь кушает сушки, сидя у самовара. Долька лука бесславно пала на тарелку. Рыбкин съел опенка и лисичку. Вновь подцепил несчастную луковую дольку. Взгляд привлекла картина над зоной раздачи пищи. Охотники на лыжах возвращались из лесу в родное селенье. Долька начала соскальзывать с вилки, однако Николай не допустил этого. Луковица совершенно не хрустела, вероятно, залежала, заветрилась. Рыбкин сидел в пустом зале, даже буфетчица и кассирша куда-то ушли. Где же ты, Миша Токарев, подумал гражданин.

А потом съел гороховый суп, получилось тридцать пять с половиной ложек. Вкусная лисички с опятами, Рыбкин вспомнил семейное застолье в Припяти. Вспомнил с грустью Боброва, нынче друг детства живет на Камчатке, ходит на рыбацкой посудине в море. По временам товарищи разговаривают по телефону. Но когда же они виделись вживую, признаться, Николай не помнил.

Когда салат был съеден, Коля поднялся из-за стола, подошел к витрине-окну. Мужчина уперся лбом в холодное стекло. Столовая уперлась в Север. На годы вокруг ни души, вечерняя темень. И где-то на расстоянии поджопника от дурака Васечкина размытое пятнышко той остановки. И по-прежнему совершенно не разобрать, кто это там, женщина или мужчина, может быть, я сам, ох, на той остановке сижу. Николай Спартакович икнул, места для макарон по-флотски категорически не хватало. Подобно тому, как одному небезызвестному поэту не хватает нежности в стихах, а он, понимаешь, желает, чтоб у него нежность была, но получается какая-то небрежность, в самом деле.

Рыбкин вышел на пустынную улицу. Над котлованом зависла лапа строительного крана. Дорогу заволокло туманом. На белом доме мерцал баннер с военным и надписью: присоединяйся к своим. Мы стояли на краешке зимы, близилась весна. Значит, литератор сейчас в очередной командировке в специализированном казенном учреждении. Рыбкин хорошо подготовился, список сумасшедших домов, наркологий, неврологических отделений с адресами, телефонами, порядком приема посетителей. Был изучен больше, чем наполовину. Мужчина шел мимо вечного огня, лицо жалили стекляшки разбившегося окна самолета. Почти центр города, ни одного гражданина. Николай неудачно поставил ногу, оскользнувшись, завалился в мокрый снег. И вдруг понял, что мир, пронизанный атласной кровью Моцарта и латексным потом группы «Мираж», никуда не делся. Поднявшись, Рыбкин закурил, руки отчего-то дрожали. Все так же над котлованом зависла лапа строительного крана. Все так же на белом доме мерцал баннер с надписью: присоединяйся к своим.

У аптеки, растянувшись на льду, кряхтя, безуспешно пытается подняться старуха, на ней сизое каракулевое пальто, на голове шерстяной платок, ручку пакета она никак не желает отпускать. Рядом с нею мнется тощий парень в черном спортивном костюме, серая шапка с зеленым пауком натянута на самую макушку, маленькие и круглые уши, красные, как будто их обварили в кипятке. Голос гнусавый, говорит с каким-то вызовом: а как я ее подниму, а если враг, что же я, врага народа поднял, а последствия какие. Короткий удар в солнышко, согнувшись пополам, пассажир жадно ловит ртом воздух. Миша бы не одобрил, пронеслось запоздало в голове. Старуха совсем легкая, что-то лопочет, но я не слышу речь, а вижу детские мыльные пузыри, они вылетают, один, два, три, лопаются, киваю, довожу до остановки, усаживаю. Дует сильный ветер, с крыши остановки летит пласт снега, с глухим ударом приземляется на проезжую часть.

Оставив бабку на остановке, отошел метров на пять. И увидел удивительную картину. Подобно тому, как в лесу, если обронить кубик рафинада, то к нему начнут стягиваться муравьи. Так и бабку принялись облеплять пионеры и пионерки в красных галстуках, лакированных ботинках, коричневых полшубках. С косичками, курносые, грядущие члены преступных группировок, доценты, учителя, менеджеры, грядущие те-то и те-то. Их ручки ощупывали старческое лицо. Их уши увлеченно слушали сердцебиение пожилого человека. Губы шептали пульс: сто пятьдесят, сто сорок пять, сто сорок, сто. Влекомый мыслью о ночлеге, я устремился в сторону посуточной гостиницы в жилом доме. Шел мокрый снег, как было озвучено ранее. И мокрый снег тот был раненым солдатом на моих плечах. Однако я нес его, не рассчитывая на медальки, я просто его нес. Остановился на трамвайных путях, закурил. Впереди, за лесочком, начинались девятиэтажные хрущевки. Силуэты их напоминали мне силуэты лисичек, опять. Пошел аккуратно по лесочку, должно быть, с веток вода накапала за шиворот. Подумалось весело, что Эренбург оттаял, а сигареты подорожали. И жизнь, наверное, продолжается, чудесно. Не имея определенности, лишь примерные адреса, явки, пароли, юдоли. Решил снять себе угол, измерить, иными словами, что-то там про штаны Пифагора. Я решил снять себе угол, если угодно, гипотенузу, хотелось так спать. Завтра, думал, все завтра. Мысли путались, а я чувствовал близкое присутствие Токарева. Уже

слышалось жужжание пчел Персефоны, как Миша ласково прозвал шприцы с медикаментами. Слышался его мальчишеский, безумный смех.

На фасаде дома висела памятная черная табличка. Заразительно улыбаясь, щекастый мужчина в квадратных очках, расстегнутой на груди рубашке в тонкую полоску, в джемпере крупной вязи добился своего. И я невольно пал жертвой палочки хохота, минуя оспу и тиф. В этом доме с декабря 2099 года по декабрь 2100 года жил и работал выдающийся путешественник во времени, Олег Евгеньевич Митасов. Внезапно, нет-нет, стремительно, со спины на Рыбкина было совершено нападение. Послышался подозрительно знакомый, гундосый голос: не дергаться, младший лейтенант Комаров. Силы лейтенанта Комарова едва ли были сопоставимы с мощью старшего лейтенанта Шмелева. Мы отчаянно боремся. Зеленая шапка с пауком слетает с моего соперника, летит в кучие кустики. Наконец, оппонент дает слабину, нелепо попавшись в школьный захват. Кулаком натираю ему макушку, он кричит: ой-ой-ой. Белобрый такой, смешной. Продолжаться вечно ни одна война не может, поэтому отпускаю мальчишку, пускай идет с богом.

Он тяжело дышит, недовольно говорит, доставая из кармана спортивных брюк красное удостоверение: что ж вы, гражданин, это никакая не бабка оказалась, враг самый настоящий. Смотрю на него, как на чахоточного. Вдруг этот сотрудник всхлипнул да расплакался: как же мне быть, в какой отдел теперь меня за такое вызовут. Раздосадовано-ошеломленный, я тронул Комарова за плечо, покойно сказав: будет вам, лейтенант, бабулька может являться двойным агентом, глядишь, она наши с вами интересы отстаивала. – Правда, вы так думаете в самом деле? – спросил с надеждой Комаров, утирая лицо бумажной салфеткой, громко сморкаясь. Мою щеку оцарапала льдинка, как в детстве. Этот лейтенант, летчики-камикадзе, бабка-сахарный кубик, вокруг происходило что-то по-настоящему загадочное и удивительное. – Комаров, – говорю, – негодница, сходите-ка домой или в отделение, попейте чай с малиновым вареньем. – Говорю это как-то механически, что ли, вымотался совершенно. Зачем о малиновом варенье вот вспомнил. Гражданин в спортивном костюме отдает честь. – Товарищ, спасибо вам за поддержание боевого духа, даю слово, мы разберемся с этим вопросом, виновные будут в проказе, – произносит уверенно. Развернувшись, Комаров несколько дерзновенно кричит уже в темноту: э, любезные, минуту вашего внимания! Походкой развязной сотрудник удаляется в сторону темной аллеи. Вослед приподнявшихся долговязых ребят в красных галстуках.

Николай Спартакович пнул стеклянную бутылку, она, позвякивая, покатила. Рыбкин смотрел на нее до тех пор, пока красная этикетка не перестала виднеться во тьме. Внутри Николая Спартаковича разгорелся всамделишный пожар на субботнике. Листья каких-то мелочных обид, перегнившие веточки сожалений. Пусть горит, мне-то чего, подумал мужчина, решая войти в посуточный отель. Как вдруг из соседнего подъезда выпорхнула неведомая Лорелея. Это пошутил Рыбкин, томимый тоскою неясной этимологии. То ли по детям с женой соскучился, то ли в сорок лет захотелось стать медицинским братом или массажистом. А ведь захотелось, Рыбкин, признайся, захотелось все поменять. Так здорово уметь работать руками, так здорово. Дамочка, придерживая полы засаленного светло-зеленого длинного пуховика одной рукой на животе, другой на груди. Заскользила в своих розовых тапочках к мсье Николаю.

Гражданка с удивительно серыми глазами, серыми точно последний снежок, что лежит где-то там, в промзоне в апреле. Несколько перекошенное лицо, короткие рыжие волосы. В ее облике угадывались черты девушек с портретов Модильяни. Своими холеными руками она не давала засаленному светло-зеленому пуховику явить нечто великое. Она семеняла по наледи в своих домашних розовых тапочках с темно-желтыми помпонами. Неловким смехом она потеснила меня к мусорным банкам с забродившими соленьями, что выстроились вдоль синего пластикового бака. Особа попросила сигаретку, скрываясь от ветра, мы зашли под козырек подъезда. С рюмочным звоном бились сосульки. Мы с нею курили вдвоем в городе Иркутске.

Откуда-то, должно быть, из квартиры на первом этаже доносилась музыка. Незнакомый подросток бодро читал под ритмическую музыку о маршрутке, в которой не было мест, поэтому лирическому герою пришлось сесть на героин. Далее чтец вспоминает о своей возлюбленной, к

ней он, собственно говоря, направляется в гости. На остановке автор заходит в магазин и решает прикупить курицу на ужин. Однако забывает за нее заплатить, вследствие чего на него совершают нападение охранники. На мужчинах черная форма с нашивками: викинг. А также тяжелые ботинки фирмы «Патрули». В конечном итоге герою удается вырваться, он ловит попутку, проезжает мимо витрин, проезжает и размышляет, что же он видел в жизни кроме насилия, кроме пакетов с клеем. Затем в композиции происходит забавный переворот, мы узнаем, что героя зовут Миша, он пишет свою первую повесть, а его возлюбленная Лена на ужин хочет приготовить яичницу. Автор думает о женитьбе, представляет, каков будет праздничный обед, запеченные голуби в соусе бешамель. Затем лирический герой заходит домой, его сожительница весьма рада курице. Они ужинают и глядят сериал Клиника. Елена сдержанно сообщает, что к чаю припасены финики. Рассказчик безмерно счастлив. Неожиданно гражданка сказала: это мои дети слушают хип-хоп, у нас в городе Миша Токарев еще подростком талантливо читал хип-хоп, но в отличие от Деда вон как бывает. – Меня, кстаги, Лиля зовут, – представилась. – Коля, – говорю. А сам посмотрел, знаете, в профиль, в профиль дамочка показала поразительно знакомой.

По-видимому, я помню этот длинный нос в красную крапинку, нас осаждали в ту пору клопы. Какая же это была госпитализация в наркологию, кажется, четвертая. Происходит все до смешного легко. Выходишь из дома майским утром на улицу, в свой выходной с мелочью на сигареты. А через три дня лежишь уже на вязках где-нибудь в Омске, хотя проживал в Подмосковье. Не подумайте, с Омском все в порядке, в Омске покоится Егор Летов. Я много где лежал уточкой под капельницей, невразумительно крикая. Лилия, да, Лилия, которую нарисовал в своей манере Модильяни. Помнится, излет февраля, томный вечер, клозет, кабинки категорически отсутствуют, не положено. Минула неделя моего пребывания в тех местах, прокапали витамины, янтарную кислоту. Приезжала жена, в третий раз предупреждала о том, что детей я больше не увижу. Сигарет не привезла, кажется, во всем отделении они кончились. Меня пошатывает в клозете, пластиковое ведро из-под майонеза на подоконнике, в нем плещутся окурки. И вдруг Лиля. Нас разделяло две решетки и разные лирические героини, на которых мы хотели быть похожими, когда вырастем. Я мнил себя Довлатовым, Довлатов мастерски мял передовицу, а получались смешные буквы. Помнится, Лилия лежала в женском отделении среди любительниц «Алисы в стране чудес», Тимоти Лири, Уильяма Берроуза. В сущности, не столь важны подробности. Мне чудовищно хотелось курить, а во всем отделении, точно, ввели запрет на курение. Кто-то тайком пронес несколько литров некачественного самогона. Среди нас были отравленные и посрамленные, потому и ввели запрет. Ох, взглянул еще раз на эту Лилию, мы закурили по второй.

А тогда в казенном учреждении она умудрилась пробросить мне сигареты, прилепляя к филтрам кусочки свежей штукатурки. Терзаемый иллюзорной благодарностью, я протянул ей целую пачку. Не глядя, достал из кармана брюк несколько соток, тоже вам. Гражданка пришла в возбуждение, пуховик распахнулся, под ним синий клетчатый халатик, такие, по вероятности, нам выдавали в тех веселых отделениях. Сколько же их потом было, пять, может быть десять. Лилия приблизилась свое разгоряченное лицо, пахнущее ландышем, водкой и тем февралем за двумя решетками. Она ошибочно отнесла мое смущение ко временам студенческих влюбленностей. Великодушно предложила провести с ней вечер с последующим распитием алкогольных напитков. Однако, являясь алкоголиком в стойкой ремиссии, ответил пленительным отказом. Что несколько смутило гражданочку. Она спросила, есть ли где остановиться. Ответил ей: нет, нгде. Подул ветер, женщина поежилась, полы ее пуховика вновь норовили распахнуться. – У меня деверь через десять домов, одинокий, интеллигентный, я сейчас позвоню, – сказала она, доставая из кармана куртки кнопочный телефон. – А ты не из органов? – спросила, оценивающе разглядывая. – Ищу одного человека, – нехотя произнес, кивая на окно, из которого продолжала доноситься музыка. – Ой, Токарев, что ли, у меня деверь с ним друзья хорошие, – сообщила она, зачем-то постукав указательным пальцем левой руки об указательный палец правой. Пуховик распахнулся. – Странно, трубку не берет, – сказала Лилия, – деверь мой живет на улице Космонавтов, дом семь, квартира триста пятьдесят семь. – Одна из женщин Модильяни улыбалась, прищурив глаза. Потом сказа-

ла, почти смеясь: и не забудь купить водки, что я тебя учу, какой-нибудь еды, сыра, колбасы, он любит крабовые палочки.

Крабовые палочки, подумал Рыбкин, дочка Дана их тоже любит. Дети сейчас вместе с мамой в Черногории у родителей жены. Там хорошо, тепло, но я пока не сорвался, дорогая, пока не сорвался. – Эй, ты слушаешь, скажешь, от Лили! – кричала в самое ухо женщина, словно ухо являлось Крайним Севером. – Да понял я, понял, – смутился как школьник Николай. – И смотри, в академгородок не сверни, там, говорят, эти, молоточки какие-то, граждан пристукивают, – произнесла женщина, увлекая мужчину к ночному гастроному. Но Рыбкин вежливо сказал: Лилия, не стоит, не стоит, я дойду самостоятельно, ведь в своем девятом Б самый высокий и быстрый партиец. Гражданка ответила: как хочешь, главное, по сторонам смотри, тебе нужен дом семь, квартира триста пятьдесят семь. Коля, разминая зябнувшие пальцы, потопал в сторону предполагаемого места проживания необходимого деверя.

Продрогшая, сонная улица прижималась ко мне, и мы дрожали вместе. Я шел по указке Лилии, размахивая руками, опасно балансировал. И дрожал. Указка была деревянной, Лилия совершенно не походила на учительницу. Жизнь истончается, подумалось безрадостно Николаю. Он протиснулся между домами, пятиэтажки стояли почти впритык. Расстояние не больше полуметра, тридцать девять шагов бочком, бочком. А все-таки жизнь истончается, подумалось Николаю, когда он едва не порезался о колючую проволоку, притаившуюся на уровне головы за гаражами. Эх, она истончается, снова подумал Рыбкин, идя по стадиону, глядя на инсулиновый шприц с оранжевым колпачком. Откуда-то слева раздался зов электрички. Так электрички извещали: в нас нету Венечки, где же ты, Венечка! Фонари горели через один. Ну, истончается, чего же теперь, подумал Рыбкин, омываемый холодным ветром. В очередном дворе двое рослых мужчин в синих комбинезонах грузили в багажник серебристой девятки что-то в черных мешках для мусора. Зачем-то истончается, даже спросить не у кого, ставить заплаты, не ставить. После встречи с Токаревым Николай решает поехать к бывшей жене и детям. Он поднимается по лестнице, стоя на крыльце, с удивлением обнаруживает домофон с одной единственной кнопкой. Какая-то новая модель, что ли.

Экран загорается, на экране раскрасневшееся лицо Николая Спартаковича. Мордасы какие, размышляет добродушно мужчина. Вдруг слышится женский механический голос: снимите, пожалуйста, кепку, назовите номер квартиры. Коля ставит свою кожаную, дорожную сумку рядом. Снимает шерстяную клетчатую кепку, говорит: в триста пятьдесят седьмую, Николай. Добавляет поспешно: я от Лилии. – Прошу вас уточнить, вам в Аризону? – напутала электрическая баба. Рыбкин зачистил, надевая кепку из ангорской шерсти на подмерзающую, словно хурма на рынке, голову: нет, нет, от Лилии. Ненастоящая женщина плела интриги на рабочем месте: поняла, Воркута, назовите цель визита. Николай Спартакович, глядя в собственные воспаленные глаза, растерявшись, произнес: Рыбкин Коля, куда ты приехал. – Ваш запрос включает в себя населенный пункт Арканзас, к сожалению, в рамках доступных параметров предоставить доступ не представляется возможным. – Вот она совсем истончилась, усмехнулся мужчина, искусственный интеллект не в состоянии предоставить мне доступ. Ухватившись за дверную скобу, он принялся открывать силой. – Вы нарушаете целостность городского имущества, я буду вынуждена кричать, – даже будучи электрической, женщина продолжала оставаться курочкой. Николай Спартакович отошел, услышав, как открываются двери лифта. На крыльце вышла девушка в черной блестящей шубе с азиатскими чертами лица. Дамочка неестественно рассмеялась: еще одна жертва нашей цитадели, добрый вечер. Николай Спартакович сдержанно приветствовал девушку: добрый, выходит, что да. – Вы ей говорите всегда, тени исчезают в Иркутске, – выдала нечто секретное азиатская шпионка.

Рыбкин зашел в подъезд, гудел трансформатор. Кто-то нервно щелкал кнопкой лифта, точно соловьиная щелкотня раздавалась откуда-то сверху. Пахло яблочным пирогом, как в детстве. Наполовину стены были выкрашены синей краской, наполовину побелены. Еще пахло едва уловимо хлоркой. На почтовых ящиках стояли картонные иконки, Рыбкин опознал Архангела Михаила.



В подъезде было чисто, можно сказать, скажи, уютно. Николай Спартакович вспомнил, как в институтские времена они обжимались с будущей женой Klarой на лестничной клетке. Мужчина мечтательно разубылбался. Сколько же им тогда было лет. Лет по восемнадцать, совсем юнцы. Потом ее родители увезли на год, спрятали, воспрепятствовали любви. Коля продолжал изучать синтагмы, безбожно тосковал. Она сбежала из дома. Краткое время жили в Тарусе у друзей. Читали с Klarой Паустовского. И снегири на ветках напоминали яблоки. И птичьи следы на снегу, точно воробьиный шрифт, были способны читать самые одаренные школьники. Мужчина писал стихи в ту пору. От нахлынувших счастливых воспоминаний Николай Спартакович готов был полимеризироваться прямо на месте.

Поднявшись на один лестничный пролет, Рыбкин увидел до чрезвычайности милую картину. У белой батареи на поддонах, застеленных розовым байковым одеялом, дремала черно-белая кошка. От шагов мужчины животное, проснувшись, подняло голову. Вероятно, жильцы подкармливали кошечку, рядом стояла фиолетовая пиала с водой и два пустых блюдечка. Кошка мяукнула, в оскудевшей пасти красавицы, не хватало сосиски. – Эй, подруга, хочешь сосиску, или курицу? – спросил игриво Рыбкин. Она замурлыкала, прищулив голубоватые с поволокой глаза. Приятный подъезд, а жизнь истончается, а я совершенно забыл купить водки, закуски для хозяина квартиры. Подумал повеселевший то ли от приятного кошачьего соседства, то ли от истончившейся жизни мужчина. Подъезд был опрятен, Коле нравилось стоять здесь, вдыхая запах яблочного пирога и хлорки. Выходить на продрогшую, сонную улицу ничуть не хотелось. Кошечка сонно мяукнула, этажом выше хлопнула дверь. Замлевший Рыбкин сладко зевнул. И все-таки вышел на улицу.

Суставы ветвей под мартовской анестезией едва покачивались, едва. Мужчина пересек двор. Синий круглосточный магазин с вывеской: «Кристалл». Краска на вывеске облезла, словно кожа на локтях и ладонях в детстве, когда Рыбкин по недоразумению притащил домой лишайного котенка. Николай вошел в металлическую дверь, обитую кожзамом. За прилавком сидела полная гражданка в сиреновом деловом костюме, татуировка слезинки под глазом. Печаль зимы лежала на ее лице. Черные тонкие брови-деревца. Синие, точно целлофановый пакет, запутавшийся в ветвях березы, волосы, прическа каре. Николай Спартакович, показывая рукой на полку за спиной дамочки, попросил: будьте любезны три бутылки водки. Тонкие желтые губы пришли в движение, они были подобны муранам: вы не себе? – Не себе, – подтвердил Рыбкин. – Тогда берите вот этой марки, недорого, но хорошая, – девушка выставила на прилавок бутылки-кегли. Она выглядела несколько уставшей, а еще пленной. Николай Спартакович выбирал продукты, переходя от витрины к витрине. – Пачка сосисок, куриная грудка, килограмма два, две пачки крабовых палочек, салат мимоза, оливье, морковку по-корейски, три пачки кошачьего корма, – перечислял мужчина. Продавщица передвигалась крайне медленно. Быть может, каждое утро, идя на работу, бедняжка по нелепой случайности вынуждена наступать на противоположные мины. – Можно еще блок сигарет, – попросил смущенно Коля. Неожиданно гражданка спросила, продолжая складывать продукты и выпивку в пакеты: – Скажите, я симпатичная? – Николай Спартакович на автомате ответил: как Баден-Баден, еще сыр вот этот, пожалуйста.

Нехитрой беседой они украшали свои губы. Девушка, взвешивая сыр, поинтересовалась: вы бы не постеснялись осызгать мои уста своими? – Вы так юны, а я такой древнеегипетский, что успел побывать в пионерах, – кокетничал Николай Спартакович, принимая белые пакеты у дамы. Черный лак на ногтях продавщицы кое-где отстал. По маленькому серому телевизору в подсобке показывали Ларса фон Триера, полуслепая женщина упоенно танцевала на заводе среди станков. Девушка, хмыкнув, сказала: я учусь на теологическом факультете, пионеры не мой профиль. – Всего доброго, дорогуша, – поставил радиоточку в их разговоре Рыбкин. И вышел на улицу. Ах, истончается, радостно подумал он, вдохновленный беседой с продавщицей. Он дошел до подъезда, нажал кнопку. – Представьте, назовите цель визита, – попросила неумная механическая барышня. Рыбкин сказал с достоинством: тени исчезают в Иркутске. В подъезде он покормил кошку, поднялся на третий этаж и постучал в триста пятьдесят седьмую квартиру, все с тем же достоинством, стоит отметить.

## Двенадцатая глава, в которой Рыбкина едва не убьет женщина, впрочем, пустяки, дело житейское

Светло-каштановая дверь, щелчок Маузера-замка, клацнула цепочка, словно сцепки вагонов электрички до Петушков. Хозяин медлил, я деликатно постучал костяшками пальцев еще раз. Дверь приоткрылась, до меня донесся горьковатый запах полыни, квашеной капусты и чеснока. – Подойдите, пожалуйста, поближе, мне бы хотелось на вас посмотреть, если можно. Голос низковат, однако деверь мягко выделяет шипящие, голос весьма приятен, как лекция Алексея Поляринова о Дэвиде Фостере Уоллесе. Я приблизился к образовавшемуся зазору, сантиметров десять разделяло мой глаз и черный, словно маслина, глаз незнакомца. Казалось странным ютиться на лестничной клетке в то время, как замок-маузер и даже электричка-цепочка не мешают более войти в жилище. – Спасибо, что постучали спокойно, лучше не шуметь, у меня почтальон издевается, стучит, как в девяносто третьем стучали танки по Белому дому.

В прихожей горел приглушенный свет. На черной лакированной тумбочке стоял коричневый дисковый телефон. Китайский красный дождик, горит синяя гирлянда, тянущаяся вдоль стены. Зеленые коньки покачиваются на гвозде. На вешалке в виде рогов оленя висит клетчатое пальто, тулуп. Хозяин, кражистый мужчина пятидесяти с хвостиком лет, в роговых очках, с длинным крючковатым носом, добротной русой бородой. И напоминал он в некоторой степени дворника из мультипликационного фильма «Пластилиновая ворона». Громко тикали часы в соседней комнате, слишком громко, подобным образом одна мать вопит на своего ребенка за разбитый стакан. Это не стакан у ней разбился, наверное, жизнь у ней разбилась. В прихожей читается острый запах мандаринов и хвои, близится весна. Я подумал, а какое сегодня число, март наступил или не наступил. – Так наступил, второе уж марта, – смущенно сказал гражданин в оливковой рубашке и синих брюках. Чем несказанно меня напугал.

Сделалось чрезвычайно душно, как тогда, полгода назад. Звонила, помнится, старушка-блокадница. Правнуки решили сделать у нее ремонт. А за дубовым шкафом нашли конфетку, этикетка уж выцвела, названия не разобрать. Бабулька говорит, мол, подтверждает, помнит, как ее угостила соседка, она по малолетству решила лакомство спрятать, спрятала. А суть в чем, конфету блокадную с места не сдвинуть, пробовали тросом зацепить, автомобиль на месте пробуксовывает, домкратом тоже не получилось поднять. А рукой я дотронулся и жар по телу необобразимый пошел. Провели необходимые замеры по инструкции, все в пределах допустимого. Словом, оставили эту конфету на долгую память. Рыбкин с подозрением взглянул на этого чуть лысоватого, преимущественно с висков, гражданина. Глаза-пуговицы, увеличенные линзами очков, слезились. – Это я мыслеформами, если позволите, увлекаюсь, – сказал он застенчиво. – Работаете с тонкими телами? – машинально спросил Коля, знакомый с данным вопросом, работа обязывала. – Именно, у меня совершенно потрясающая коллекция маятников, – расцвел мужичок-одуванчик, – а зовут меня Филипп Дмитриевич, но можно просто Филипп. Николай вручил пакеты с продуктами: Филипп, Лилия сказала, что у вас есть возможность приютить на одну ночь. Рыбкин принял жонглировать словами, точно апельсинами, это он умел делать. Филипп Дмитриевич заговорил весьма бдро, как генерал Лебедь в свое время заговорил о выводе ограниченного контингента: рад, крайне рад приличному человеку в своем скромном жилище.

Мужчины прошли по коридору на кухню, на стенах висели черные африканские маски. Кухонные стены принарядились в газеты. Синяя кастрюля в белый горох стояла на плите. Пельмени, отметил Рыбкин малозначительную деталь. Разварились, дал компетентную оценку пельменям Рыбкин. Хозяин квартиры, приплясывая, доставал из пакета выпивку, закуску. – Я позволю себе на правах старшего организовать нам нехитрый ужин, – Филипп выставил салатик на стол, разлил водку по стопкам. – Язвенник, не пью, – конфузливо улыбнувшись, сказал Николай Спартакович. На кухне горела люстра с красным абажуром. Лицо Филиппа Дмитриевича напоминало глиняную маску. Коля взглянул на собственные руки, они уподобились в каком-то смысле клеш-

ням вареного краба. В предзаданном небе пролетел самолет, слишком уж низко, задрожали стекла. Хозяин залпом выпил грамм пятьдесят. Глаза у него сделались как у ребенка, доверчивые, доверчивые. Глядишь в такие глаза, понимаешь, непротивление злу есть дело жизни сколько-нибудь порядочных граждан.

Рыбкин степенно кушал оливье. Филипп Дмитриевич махнул еще грамм пятьдесят, закусывая сосиской. Он разговаривал с набитым ртом и в некотором роде рифмовался с большим, добросердечным детсадовцем. – Вы проездом в нашем городе? – спросил он, переключившись на морковь по-корейски в тарелку. Николай Спартакович ощущал себя как в студенческие годы, когда подрабатывал в фотоателье, он любил и доверял этому красному полусвету. Коля налил в бокал ананасовый сок. – Знаете ли, проездом, необходимо встретиться с одним человеком, – пояснил гость. Филипп Дмитриевич разливал по плошкам пельмени. За окном вьюга читала хип-хоп. И кололи витамином Ц снежные иглы припозднившихся граждан. И ветка стучала в чье-то ночное слепое окно. В завывающем ветре угадывались голоса, полные печали, то были голоса оставших от своих племенных сородичей. И летал над ними дух изгнания. Рыбкин помотал головой, прогоняя смурные мыслишки. Филипп, допивая бульон, спросил: а вы ищите Токарева, я правильно понимаю? Гость, стоящий у окна, вздрогнул от неожиданности. Он ощутил себя вдруг неким причудливым растением, чьи лепестки, лепесточки боятся солнечного света. А весь фотосинтез осуществляется исключительно на кухне-оранжерее. – Кажется, мне не доводилось называть имя человека, которого я ищу, – сказал задумчиво Рыбкин.

Хозяин квартиры подлил себе грамм тридцать водки, немедленно выпил. И со значением произнес: в последнее время он отчего-то многим понадобился, совсем недавно приезжала съёмочная группа из Нидерландов, снимали, кажется, фильм о нем, или о русской литературе, не помню точно. Николай, спросив разрешения, открыл фрамугу окна, закурил. Он скидывал пепел прямо в распахнутую форточку. Филипп Дмитриевич поставил на подоконник пустую литровую банку. – Сбрасывайте сюда, пожалуйста, – сказал он. И вновь напоил свой стакан. Повертел в руке, не став пить, отставил на стол. Съев ложку салата мимоза. Давший приют человек произнес: нынче у нас весна, Токарев как раз в неврологии, отсюда три остановки всего. Коля докурил, разминая шею, спросил: а я думал, он перестал сдаваться на милость санитаров, разве нет? Хозяин квартиры, огладив бороду, ответил: это вы ложно подумали, в своих крайних вещах он перестал упоминать сумасшедшие дома, однако сумасшедшие дома из его жизни никуда не исчезли. Рыбкин взял свой бокал, подлил ананасовый сок. И с удивлением проговорил: верно, читая Мишу, ты постоянно как бы соотносишь, вот он в туалете областной наркологии курит, болтает о Фуко. Рыбкин задумался, потом осушил бокал. – Вот его направляет биржа труда на раскопки расстрелянных полковников, – продолжил рассуждать Коля. Филипп Дмитриевич, грустно вздохнув, глядел на желто-красные газетные обои на стенах. – Расстояние между автором и лирическим героем почти отсутствует, – сказал хозяин квартиры, явно захмелев.

Неожиданно в прихожей раздался глухой удар в дверь. И даже небогатый слухом Рыбкин подпрыгнул на стуле, воскликнув: что происходит, Филипп? Приотивший мужчина вмиг протрезвел, резво вскочил со стула, встал на пороге кухни, выставив руки ладонями вперед. – О, сушая мелочь, моя жена происходит, – затараторил этот обаятельный человек. Николай Спартакович крепко сжал вилку, направил ее на Филиппа. – Моя жена робот, я заказал себе жену из Японии, но вы представить себе не можете, сколь она бывает агрессивна, – оправдывался этот мастер саспенса, Альфред Хичкок. Должно быть, я успею дойти до гостиницы в соседнем доме, размышлял Рыбкин, необходимо ли мне убивать этого чудика, или просто вырубить. Филипп Дмитриевич, сложив руки лодочкой, тоскливо сказал: вы не верите, я могу показать, но только под вашу ответственность. Рыбкин чрезвычайно рисковал, соглашаясь взглянуть на чужую жену, по предварительной информации, агрессивную. Впрочем, Николай не являлся круглым, словно таблетка диазепама, дураком. Не сводя глаз с этого Носферату своего времени, Коля на всякий случай отправил адрес Филиппа своему коллеге, Семену. Взяв липкий кухонный нож, Николай произнес, он произнес нечто нечленораздельное. Вероятно, переутомился. Перед глазами муж-

чины непредвиденно побежали, скорее, пошли спортивной ходьбой титры. В главных ролях, над фильмом работали и все в таком духе.

– Уважаемый гость, мы пойдем смотреть на мою жену? – вывел из-под обстрела снарядами авторской несурзанности Филипп. Будучи служащим серьезной, словно преступления, совершенные некогда партией Черных пантер. Будучи служащим такой вот серьезной организации, Рыбкин, точно круглый дурак, поплелся с хозяином квартиры, смотреть жену. А нож позабыл на столе. В коридоре Филипп сообщил: вы стойте позади, меня она узнает, а вас воспримет как угрозу. За металлической дверью, выкрашенной в малиновый цвет, начиналась кладовка. Рыбкин слышал глухие удары, доносящиеся изнутри. Сила ударов измерялась, кажется, в ньютонках. Удары были подобны ударам по сектору Газа, такие же пугающие. Впрочем, Израиль ведь защищается. А кто виноват, когда жена, например, кидает в мужа ножик. Все эти вопросы настолько внезапно возникли в голове Рыбкина, что мужчина попросил: подождите, Филипп, мне бы отдышаться, голова закружилась. Постукивания прекратились. Из кладовой послышался механический женский голос: милый, у нас гости? – А как вы с ней справляетесь? – спросил Коля, прикрывая глаза. – Вообще-то говоря, она сама себя заряжает, обучается сама, к вечеру активничает, убирается, готовит, извините, секс, – признался хозяин квартиры, раскрасневшись, как томатная паста. – Милый, а выпусти меня, – попросила супруга Филиппа. В ее манере говорить присутствовали мурлыкающие нотки, подобным образом Иосиф Бродский читал стихотворения, переняв эту манеру у кошек. В коридоре подмигнул свет, едва слышался писк из щитка. Рыбкин спросил: а как зовут вашу жену? – Ее зовут Ясуко, Николай, – ответствовал гражданин. – Милый, ты не представил меня подобающим образом нашему новому другу Николаю, – проявила галантность Ясуко из-за двери.

Нетленное желание взглянуть на чудо-барышню возникло у Коли. Он обратился к Филиппу восторженно: послушайте, да, звезды зажигаются, это все понятно, но ведь искусственный интеллект, который сам себя обучает. Николай Спартаковича даже посетила шальная мысль – махнуть грамм пятьдесят. Однако шесть месяцев трезвости в некоторой степени обьявляли Рыбкина не закладывать за воротник и держать себя в ногах. По мнению самого Рыбкина, не пил он во имя любви к своим детям. Таким образом, Рыбкин являлся рабой любви. – Вы, Николай, аристократично сопите, – промурлыкала Ясуко. Филипп Дмитриевич расстегнул верхние пуговицы своей оливковой рубашки. Тяжело дыша, мужчина сказал, обращаясь к гостю: знаете, дело, в чем, дело, в чем. Хозяин квартиры перебирал слова, точно Сальери перебирал причины, почему Моцарта не следует уничтожать. – Знаете, уже были прецеденты, когда вот приходили гости, Ясуко, скажем так, не умеет контролировать себя, свои эмоции, – Филипп явно побаивался собственной механической супруги, отметил Николай. – Милый, ты делаешь мне больно, моя психика не выдерживает, я злюсь, – японка ударила в дверь. От удара в коридоре рухнула вешалка. Хозяин квартиры, сняв очки, произнес: видите, ситуация, как у Китая с Тайванем. Гость понимающе сказал: война это дело молодых, лекарство против мужчин, в таком случае, Филипп, не будем рисковать. – Вот и замечательно, тогда я вам постелю в гостиной, а на жену можно будет взглянуть завтра, когда она будет заряжаться, – Дмитриевич как будто извинялся. И напоминал он бородатого медвежонка, если вы понимаете, о чем я.

Хозяин квартиры увлек Рыбкина в ближайшую комнату с балконом. Зажег свет, на этот раз абажур был синий, предметы окрасились, точно покрылись наледью. На серванте выстроились по росту фарфоровые слоники. Занавеска едва заметно дрожала. Ворсистый ковер, Николай Спартакович, как в детстве постарался не наступить на яму со змеями, однако по нелепой случайности оступился, очутившись в жерле действующего вулкана. – А что это вы такое интересное делаете, это результат магического мышления? – улыбнувшись, спросил Филипп, он расстилал постель на диванчике. – О, детская шалость, знаете ли, нельзя было наступать, например, на шов плитки, а то сгоришь, – оправдывался, словно старшеклассница, собравшая все буквы гепатита, Рыбкин. Бородатый медвежонок приоткрыл балконную дверь, произнеся: курить можете на балконе, я салатик, салатик, говорю, доем и тоже отправлюсь на боковую, вы тоже не задерживайтесь, от-

дохните хорошенько. Николай Спартакович, зевнув, пробубнил нечто благодарственное. Хозяин квартиры вышел из комнаты, пожелав доброй ночи. Коля достал из дорожной сумки пижамный комбинезон-единорога, зубную щетку, пасту, огуречный гель для душа.

Перед отправлением на фронт Николай решил подышать свежим воздухом. Вышел на балкон. Двор припорошило туманом. Условным свистом вызывал гражданин возлюбленную. Пальцы Рыбкина очертили окружность на запотевшем окне. Мужчина распахнул его настежь, повеяло сыростью, вельветовая тьма, подумал многозначительно Коля. Ветвистые дома, освещаемые серпом и молотом небесными, перешептывались меж собою. Николай Спартакович шелкнул зажигалкой, глубоко затянулся. Стал размышлять, а ведь не дома это перешептываются вовсе. Но древесные жуки, вернувшиеся после тяжелых работ. Ветер потрепал волосы, призрачная пятерня хлестко ударила по щеке. Николай Спартакович ощущал приближение весны, сдерживаться будет все трудней и трудней. Белочки, мои весенние белочки, улыбнулся Рыбкин. Как правило, именно весной Коля начинал посещать психиатра-нарколога, пить синие и красные таблеточки, чтобы держаться на плаву. Из тумана проступили тени с обширными пакетами. И силуэт кузнечика высоченного росточка с горящими оранжевыми глазами. То не кузнечик, подумал, вглядываясь в насекомое с пятиэтажный дом. То саранча. Сокрытые туманом конечности были не видны тем гражданам, возвращающимся из магазина, оттого, размышлял Николай, паники нет, значит, и саранчи нет. Но почему же в этих ветвистых домах покойны древесные жители, они-то видят угрозу. Насекомое застрекотало, неоднородно возопило сигнализации машин. Из дыма вышла саранча, и дана была ей власть. Грустно улыбнулся Николай Спартакович, отправляя бычок в неконтролируемый полет.

Мужчина вышел в коридор, из комнаты Филиппа доносился отчетливо выраженный, низкочастотный, дребезжащий звук, попросту храп. И все имперское нам не чуждо, подумал Рыбкин, отчего-то с тоской. Коля вошел в чужую ванную, разделся. Встал перед зеркалом в одних желтых трусах с авокадо. Себе он показался каким-то утлым, что ли. Будто церквушка в депрессивном селе. Серебряный крестик нравился больше всего в этом сорокалетнем теле Николаю Спартаковичу. Ключицы что две сосны, тополиный пух на широкой груди. Поэтическое настроение, навеваемое страстным шепотом Ясуко, несколько смутило Рыбкина. Жена Филиппа как будто видела мужчину сквозь стену. Электрический голос доносился из вентиляции: Николай, ваше тело, должно быть, спроектировал Брунеллески. Оробев, гость произнес: вы сейчас ошибаетесь, над моим телом пролетел бомбардировщик. Что я делаю, беседуя с электроженщиной, подумал с удивлением Коля. И решительно снял свои трусы, включил душ. – Ясуко, не глядите на меня с таким вожделием, – финтифлюшничал Николай Спартакович, намыливая шею. Капли воды, словно разбитые молотком, дробились на тысячи осколков. Посрамленная девушка произнесла: вы многое о себе думаете, впрочем, посмотреть есть на что, признаю. Гость решил съязвить, однако промолчал. Допустив, недостаточно сошел с ума, чтобы вести романтические беседы с искусственным интеллектом. Особенно крупная, словно бомба ФАБ-500, капля упала на темечко. Рыбкин выдавил мятную пасту на щетину своей электрической зубной щетки. – Какой у вас интересный дружок, – замурлыкала Ясуко. – Шаша шашаша, – пробубнил Коля, чистя перед сном зубки.

Мужчина на самом рассвете сил обтерся голубым полотенцем с дельфинами. Надел чистые темно-зеленые трусы с пингвинами, пижаму, вышел из ванной. Коридор заволокло молочным туманом. Вероятно, забыл прикрыть окно, подумалось Николаю. Проходя мимо кладовой, он услышал, распоясавшуюся Ясуко. – Вы не хотели бы составить мне компанию и поужинать? – спросила она. Николай Спартакович сказал незыблемое нет. Гость вошел на кухню, включив красный свет. Наполнил водой из графина стакан, выпил. – Понимаю, – сказала японка, – ваша жена Клара, пусть и бывшая, вы продолжаете любить ее, не так ли? Рыбкин, пораженный столь невероятной осведомленностью электрической женщины. Смог лишь невразумительно промямлить: вы не перестаете меня удивлять, мадам, я впечатлен. Мужчина, раздумывая, стоял напротив двери в кладовую. – Николай, мы с вами взрослые, как вы смотрите на то, чтобы выпить по чашечке чая, в

холодильнике на третьей полке снизу как раз лежат испеченные мною вчера булочки с повидлом, – сказала Ясуко. И Николай Спартакович, совершенно отвыкший от женского общества, кажется, соблазнился, как соблазняется порой Иммануил Кант на присягу Елизавете Петровне. Потянулся к двери, однако в последний момент решил повременить. Не хотелось наломать дров, а также веток, наученный горьким разводом, журналист медлил.

Рыбкин, пребывая в сомнениях, глядел на этот добротный засов. – Что же вы такой нерешительный, – торопила японка. Красноватый туман плескался в коридоре. Повинуясь странной женщине, Коля с усилием отодвинул засов и открыл тяжеленную дверь. Представшая пред глазами картина показалась крайне необычайной Николаю. Кладовка являлась премилой женской комнатой. На розовых стенах висели постеры с азиатскими музыкантами. Кровать застелена бордовым пледом. На полках стоят книги. В противоположном углу небольшой компьютер и столик. Степенно крутятся диско-шар. По неведомой причине Николай Спартакович не сразу приметил японку. Она выступила из полусумрака в коридор. В фиолетовом кимоно, подпоясанном розовым поясом. Колю поразила кожа Ясуко, вблизи лицо женщины казалось пусть и чрезвычайно бледным, однако были заметны мельчайшие поры, а левый, янтарно-зеленый глаз едва заметно косил. Копна черных волос забрана в хвост. Жена Филиппа отличалась миниатюрностью, свойственной дамам востока. Рыбкин засмотрелся на ладную грудь, скованную кимоно. Жена Филиппа была прекрасна, словно вратарь на картине Александра Дейнеки. – Большое расстояние вовсе не даль, малое отставание вовсе не близость, – изящно сказала она, касаясь руки Николая. Мужчина как будто впал в ступор. Он ощутил жар, исходящий от механического тела Ясуко. – Мы недостаточно близки, давайте соблюдать субординацию, – наконец, произнес Коля дрогнувшим голосом. – Мне нравится ваша речь, – сказала японка, отстраняясь.

Она уверенно пошла на кухню, включила чайник, открыла холодильник. – Вы знали, что левое полушарие мозга ответственно за связь логики и речи? – спросила Ясуко. Рыбкин с удивлением подумал, что воспринимает робота как живую барышню. Японка выставила на стол блюдо с булочками. – Слышал об этом, кажется, – ответил Николай. Вскипел чайник. Дамочка разлила кипяток по двум кружкам. – А вы разве способны? – поинтересовался мужчина, кивнув на хлебобулочные изделия. – Николай, вы и представить себе не можете, на что я способна, – горделиво произнесла Ясуко, доставая чайные пакетики из желтой пачки. Рыбкин заметил, у девушки отсутствуют ногти. Однако детализация рук была выполнена на весьма высоком уровне. Венки, пушок на пальцах. В красном свете японка, сидящая напротив, казалась inferнальным проявлением эротических фантазий. – Вы не находите странным, что мы встретились в этом холодном городе, то есть по теории вероятности, – дамочка осеклась. Николай Спартакович откусил кусок булки с клубничным вареньем. – Я давно перестал чему-либо удивляться, – сказал Коля, делая глоток земляничного чая. И тут же подумал, если бы не странный голос, японская жена вполне могла сойти за биологическую женщину.

За окном пошел снег, подвывал ветер, сигналила машина. Внезапно зазвучал едва слышно джаз. Николай опознал композицию, Jimmy Scott, Sycamore Trees. – Это из вас музыка, простите, играет? – смущенно спросил Рыбкин. Ясуко, улыбнувшись, ответила: как музыкальная шкатулка. И закурила тонкую, ароматную сигаретку, запахло табаком и гвоздикой. Николай не заметил, откуда японка достала сигарету и синюю зажигалку. – Мне нравится молчать с вами, язык изнанка тишины, – задумчиво сказала жена Филиппа. Николай Спартакович услышал аромат пудры «Кармен», тальк, дешевый парфюм. Такой пользовалась учительница биологии, когда его семья жила в Норильске. Странно, ни внешности, ни даже имени той учительницы, только пудра «Кармен», подивился находкам памяти Рыбкин. – Вы посмотрели начинку моих булочек? – спросила Ясуко, томно прикрыв глаза. – Клубничное варенье, очень вкусно, у вас определенно получились эти булочки, – забормотал Коля. Электрическая женщина бросила окурочек в собственную кружку. Песня, бытующая в недрах дамочки, включилась заново. – Не считите за проявление ненависти, – сказала она, заходя за спину Коли. Нежные пальцы японки гладили шею, голову, лицо. Рыбкин, расслабленно выдохнул, издал полустон.

– Николай, мне бы хотелось взглянуть на ваш внутренний мир, – прошептала Ясуко. Ее пальцы сомкнулись на шее мужчины. Изо рта журналиста вырвалась ласточка запоздалого выдоха. В глазах стало темнеть. Николай вспомнил, как его душил хулиган в туалете, они тогда, кажется, жили в Чите. Помнится, он сломал тому хулигану нос. Коля с ужасом обнаружил, что совершенно не в состоянии сопротивляться. Руки Ясуко были теплы, как молоко матери, руки Ясуко. Рыбкин потерял точку опоры, табуретка улетела в космос, сознание оставляло его, точно девушка Эмма своего муженька в любовном романе Флобера. По ногам разлилось нечто горячее, липкое. Эрекция, оробело подумал Николай. И вдруг сделался ребенком, напротив него стоял отец. – А как же, ты ведь пропал при невыясненных обстоятельствах в Японии, когда занялся перегонном автомобилем, – пролепетал малолетний Рыбкин. – Так я в Японии, а ты тоже в Японии, – хищно рассмеялся Спартак. От его смеха лопнула лампочка. И свет потух, тонкие руки не удержали солнышко.

– Что же вы, я же предупреждал, – послышался раздосадованный голос Филиппа Дмитриевича. Николай открыл несмело глаза. Он сидел у батареи на все той же кухне. Ясуко с копьём в голове лежала рядом, ее ноги подергивались в конвульсиях. – Выпейте, хуже не будет, – протянул рюмку хозяин квартиры. Рыбкин махнул залпом, обожгло горло, что-то медовое. Рассудок, словно потерявшаяся на охоте собака, возвращался непозволительно долго. Зрение фиксировало, у головы Ясуко разлилась едко-зеленая лужица. Даже несмотря на красный свет Коля видел, данная лужица едко-зеленая, как раздавленный плод киви в портфеле. Филипп с великой осторожностью довел Николая Спартаковича до постели. И Рыбкин благополучно забылся беспокойным сном, в котором чуму лечили чесноком.

И снился себе мужчина мужчиной семилетним. Семья в те годы жила в Новокузнецке, на Пионерском проспекте, в доме пятьдесят три. На день рождения семилетний мужчина отчаянно желал получить варана. Когда он увидел по телевизору в программе в мире животных эту, лишенную страхов, сомнений, ящерицу, способную сожрать и переварить практически все, что угодно. Коленка влюбился основательно и бесповоротно. – Мамочка, папочка, подарите мне Гошу, он избавит нас от мышей, пауков и нежелательных личностей, – слезно просил ребенок. Взрослые, по разумению которых рептилии являлись крайне опасными сожителями, отвечали туманно: посмотрим. Семилетний мужчина ожидал прихода с работы домочадцев. По агентурным сведениям бабушки, ему должны были подарить вовсе не варана, но собаку с тем, чтобы воспитать в Николае внутреннего мужичка, способного нести ответственность за кого-то. Вставать рано утром, гулять с питомцем, не забывать, что все мы пасынки данной истории. Коля рос мальчиком спокойным, поджогов не устраивал, азартными играми не увлекался. Однако тогда произошло нечто из ряда вон. Узнав подробности готовящегося преступления против собственных желаний, он сбежал на чердак. И на чердаке случилась курьезная встреча с так называемым Токаревым. Николай Спартакович, который Николай Спартакович, уснувший в квартире Филиппа, не помнил подробностей встречи с поэтом. Но помнил собственные слезы и жалостливые всхлипы: варана мне не подарят. – Кого, варана, как же я, малыш, ведь я же лучше, лучше варана? – задал уточняющий вопрос незнакомец. И подарил книгу, правда, ни названия, ни автора Николай вспомнить не мог.

Сновидение о дне рождения сменилось новым, теперь журналист с ужасом глядел на выдающиеся произведения своих коллег. К примеру, на Тома Вулфа и его текст под названием «Электропрохладительный кислотный туман», посвященный веселому поколению шестидесятых, их опытам с разными препаратами, что расширяли сознание. И вот Николай Спартакович, тот Николай Спартакович, ставший жертвой японки, смотрит во сне на успехи прочих журналистов. И отчего-то такая у него непоколебимая уверенность возникает, а я бездарный малый, бездарный. Что ж теперь, бездарный и бездарный, надо поднабраться силенок, завтра предстоит важная встреча.

**В тринадцатой главе произойдет долгожданная встреча с поэтом, который не прочь встретиться с любимым редактором Анной Сафроновой**

Оскальзываясь в нежную мглу, маршрутка скрипела и дребезжала, однако вовсе не сгнула, полагаю, милостью Бога. Крепкий, словно алжирский черный табак, что курили солдаты ино-

странного легиона, запах людского пота разносился по салону. Водитель в серой меховой жилетке, в кроличьей шапке с завязанными сверху ушами, оглядел своими раскосыми, цвета миндала, глазами пассажиров. И с некоторым облегчением выдохнул: фхтанг ктулху. Мгновенье назад транспортное средство занесло на повороте, а все они едва не отправились к праотцам на свидание в колонию строго режима. И были пронизаны холодом низины лица водителя, испарина, неровный, бугристый лоб влажен, блестит. Рядом со мной сидела пожилая девчонка, похожая на Хелену Бонем Картер, откровенно говоря, подобные дамы не в моем вкусе, однако подобные дамы милы Токареву. Она читала «Триумфальную арку» в мягком переплете. Книжный корешок, прокляенный скотчем, напоминал рот, залепленный паутиной. Разыгравшееся воображение, подсовывало запрещенные для показа в школьных учреждениях, сцены близости с женой, приход весны, гормоны. – Мужчина, вы спрашивали остановку Кукушкин дом, вот она, – оповестила дамочка в лиловом пальто.

Вышел, значит, на этой остановке с непримечательным названием. Скрипели бараки под напевы метели. Утопая в лебяжьем пуху, я шел к вышеозначенной непостижимой, но рукотворной, на десятки отделений и корпусов, психиатрической тайге. Листвы стекольный звон, мартовский ксилофон. Объятые дремотой окна желтой избушки-проходной. Цвет домика напомнил мне связанный бабушкой полинявший свитер. А по периметру стена метра два в высоту, бордовая стена, по самому верху колючая проволока. Покалывало в пальцах, метель сменилась радикальной весной. Я не знал, в каком отделении чалится Токарев, а также не представлял, знаком ли он сейчас лично со своим рассудком. Прилетела и села на зеленые перила ворона, нас разделял один хороший плевок двоечника Васечкина. Птица склонила голову, короткое, словно хайку, кар! На сетчатке глаза вороны отпечаталось мое лицо, лицо Коли Рыбкина, похудевшего лет на двадцать. Ворона ретиво схватила гроздь рябины, улетела. И мой образ, запечатленный на сетчатке, вороны улетел тоже. Лети, ласточка, лети, подумала Дюймовочка. В свою очередь, Рыбкин подумал: лети ворона, твоими глазами я увижу прихожан в церкви, рыжего кота на крыльце, городскую свалку, холодильник «Бирюса», мальчика, что ест сырую куриную ножку с голубоватой кожей и желтыми ноготками.

Улыбнувшись, я экзотично, множество раз, стал нажимать на черную кнопку звонка. Как заметил бы Токарев, палец напоминал танец мухи, прилипшей к липкой ленте. Звонил, отвлекся, закурил, потом опять звонил. У телефона запотел экран, времени пять вечера. Вжал кнопку напоследок, вдавил окурок в порывевший ободок синей урны. Я совершенно не представлял, где тут еще одна проходная. Территория лечебницы равнялась четырем с половиной километрам. И повсюду был этот непроницаемый забор, а люди, чтоб спросить дорогу, отсутствовали. Пока грузилась страница браузера, ровно один котенок, страдающий чумкой, отправился на радугу. Пока грузились интернет-карты, успел окончиться один маленький югославский конфликт. Прохладный воздух сменился духотой. Мне отчего-то вспомнились нанайские мальчики с их борьбой. Старшенький сын Василий Николаевич очень любит нанайских мальчиков, находит забавным их танец. До следующей проходной полтора километра. Пока шел, вспомнился вот сынок, лунный мой сынок. Я забирал его, забирал из детского садика. Мы шествовали по аллее, все утопало в тополином пуху. На его коленке приметил желтый синяк. И я, мол, говорю ему, скоро пройдет, сначала синие, потом желтые, потом проходят, синяки эти. А бывают фиолетовые, спросил он, бывают, ответил я. А у меня, говорит мой лунный сын, синяк после желтого превращается в фиолетовый, а потом в бирюзовый, а из самой коленки начинают вылезать маленькие такие человечки. А потом, продолжает отпрыск, человечки становятся цветными пятнышками. Шизофрения в таком-то возрасте, думал я, грустно смеясь. Вообще, Василий Николаевич у меня оказался никаким не шизофреником, но выдающимся мальчиком, способным в свои годы неплохо разбираться в дифференциальных уравнениях, интегралах и комплексных числах.

Меж тем за поворотом увидел еще одну проходную. Приземистая синяя избушка, на крыльце вместо коврика лежало несвежее оранжевое полотенце. Звонка не было, зрение шарило по стене. Открыл скрипучую дверь. Вдали блестели турникеты, напоминающие конечности кузне-



чиков-роботов. Рядышком, за столом, гражданин, мы барахтаемся в сгущенной темноте. Черное млеко, думаю с какой-то радостью узнавания. Помнится, как читал в самолете, пока летел в Иркутск, Пимена Карлова, выдающегося прозаика, приверженца хлыстовской веры, что-то про это самое черное млеко у него встретилось. Ноги прилипали к линолеуму, Николай Спартакович на мгновение допустил, что все-таки является насекомым по дедушкиной линии. По проходной гуляли сквозняки. И кое-где пушистые снега лежали. И красные лампочки турникетов мерцали.

На синей засаленной тахте, обитой, кажется, бархатом. За широким, ладным столом восседал совершенно невообразимый гражданин. Нелепый свет настольной лампы, основание которой было выполнено в виде памятника за авторством Веры Мухиной, «Рабочий и колхозница». Перед Колей восседал на этой тахте, достойной салонов Монмартра, а не проходной сумасшедшего дома, несмотря на явную связь этих двух мест. Перед Рыбкиным восседал мужчина пятидесяти лет в коричневом пиджачке поверх желтой олимпийки. Широкоскульный, гладко выбритый, с голубыми, детскими какими-то глазами. Ежик волос незнакомец чрезмерно припорошило сединами. На его покато лбу я заметил маслянистое пятнышко. Он глядел на меня своими выразительными глазками. Внезапно гражданин поставил на стол, обтянутый зеленым сукном, достойным, по меньшей мере, генсека, кои вымерли в связи с глобальным потеплением, как знают самые юные читатели. Выставил на стол кастрюлю с казенной красной надписью: компот. Рыбкин поглядел по сторонам, точно ища поддержки. Посудина до краев была наполнена чистым снегом. Неизвестный принялся неторопливо поедать данные осадки ложкой. А Николай замороженно глядел на его желтоватые зубы, которые будто бы излучали свет. – Вы в лепрозорий, любезный? – спросил мужчина голосом деланно детским. У Рыбкина закололо сердце, там буквально соловей завсвистал и защелкал. И клювом своим принялся раздирать, он принялся раздирать человека-клетку изнутри. И если бы не чрезмерно липкий линолеум, к которому прочно пристали ботинки Николая. Коля рухнул бы в обстоятельный обморок.

Голос предательски дрогнул: дяденька, я к Мише Токареву. На зеленом поле стола Рыбкин заметил синий сборник кроссвордов, фиолетовый карандаш, пачку примы без фильтра. – Девятое отделение, как выйдешь во двор, иди до конца, самое старинное у нас тут здание, дореволюционное, – говорил вахтер и жрал свой снег. – А палата какая? – спросил обескураженно Николай Спартакович. – А в девятом отделении палаты не нужны, – рассмеялся, хрюкнув, гражданин. И вернулся к своей нехитрой пище. Однако пропускать Рыбкина не спешил, а перелазить через турникеты показалося Николаю неприличным. Может быть, сегодня неприемный день, подумалось Коле. Он с великим усилием оторвал от пола левую ногу, не прямо, конечно же, оторвал, смог поднять. Тем временем голубоглазый мужчина нажал на скрытую, по-видимому, где-то в столе кнопку. И лампочка на турникете вспыхнула зеленым светом. Коля совершил длинный прыжок, словно сербская прыгунья Ивана Вулета. Силы стремительно покинули журналиста, шальная мысль посетила его голову, надо бросать курить. Наконец, Рыбкин-муха преодолел препятствие и добыл золото для своей команды, состоящей из других гипотетических Рыбкиных-мух. Вторая часть пути во внутренний двор выдалась легче, лишь похрустывал тонкий слой льда, что сковал линолеум.

Николай Спартакович толкнул деревянную дверь на пружине, смело шагнул на улицу. Едва не высадив собственный глаз веткой боярышника, вот уж и впрямь говорят, красный боярышник – весть о пожаре. Отделения преимущественно были кирпичными, желтые, оранжевые строения, на их фоне выделялся двухэтажный почерневший барак. Он расположился у самого забора, метров пятьсот будет, прикинул на глаз мужчина. Двор, затянутый недвижимой пеленой пушистого белого снега. Хорошо, конечно, влюбиться зимней порой и розы сеять на снегу, размышлял Рыбкин, пересекая стоянку. Вероятно, для автомобилей сотрудников и родственников пациентов. И продолжил размышлять: сеять, значит, под чернолесья бахромою на запустелом берегу. Нежданно раздались крайне чудные звуки. Словно по кастрюле стучали поварешкой. Остановившись, Николай Спартакович явился свидетелем неистового буйства природы. На заунывный темный двор лечебницы обрушилась страшнейшая метель. Рыбкин взглянул в щель между средним и

указательным пальцами, сфокусировав зрение на девятом отделении. Каждый его шаг сопровождался неясной болью в области правого бедра, там примерно находился Белгород. Белгород подвергся смертоносному бурану. Я брел почти наугад, не осознавая, в каком созвездии нынешние генсеки, актуальна ли среди молодежи Анна Герман, в какой стороне находится Токарев.

Рыбкин шел, и кружился снег, соответственно, мчался мгновенный век и снился блаженный брег всем, всем ежатам и котяткам, всем, всем, уснувшим до рассвета. Николай вспомнил о стихах Генриха Сапгира в исполнении Елены Камбуровой. Вспомнил с улыбкой о том, что Миша, едва слыша «Зеленую карету», начинает рыдать, как отличница, получившая тройку, а также постыдное заболевание от мальчика-бандита, который не знает ничего, он просто смотрит и молчит и ничего не говорит. Ноги Рыбкина нащупали ступени, крыльцо, подумал мужчина. Поднявшись, Николай Спартакович приметил табличку рядом с черной деревянной дверью с окошком. Табличку ослепило снегом, Коля считил его покрасневшими руками. Явив читателям надпись: отделение номер девять. Терзаемый непогодой, Николай поспешил открыть дверь.

Чтобы очутиться в просторном коридоре. По обеим сторонам которого располагались палаты. Половицы поскрипывали, Рыбкин подошел к одной из дверей. Вкрадчивое дыхание, раскаты храпа поначалу тревожили Колю. Он всмотрелся в окошко. На пяти кроватях лежали граждане, предавшиеся сну. Где искать литератора, было неясно. Пахло кукурузной кашей, чистящими средствами, так называемыми спецсредствами против микробов. Николай Спартакович увидел в конце коридора свет, свет горел, по-видимому, в комнате дежурной медсестрички. К скрипу половиц добавилось хлопанье. Наверное, совсем недавно помыли полы, размышлял Рыбкин. В отделении зрела ночь. Колю потянуло на поэтические измышления. Плод ночи, напитавшись за день бредовыми мыслями, полусвязным бормотанием, деревянным смехом санитаров, сорвался с ветки. В следующей палате стоял, сидел, а также лежал храп, напоминающий маленький оркестр под управлением любви. Ритмически храп был похож на морские волны. Рыбкин шел осторожно вдоль берега к сестринской.

Сидя перед монитором, на который транслировались картинки с видеокамер, установленных в номерах этой гостиницы. Опустив голову, дремала рыженькая девушка в узких очках, на девушке был надет белый халат с бирюзовым воротничком. На столе, прямо на клавиатуре спала кошечка черепахового окраса. Николай Спартакович являлся человеком деликатным. И не желал понапрасну будить утомившуюся деву. Не желал становиться соринкой на линзе медсестры. Рыбкин шел наугад, кто-то сказал, помнится, дальше всех заходит тот, кто не знает, куда идти. Николай не помнил автора, но фраза ему нравилась. И жизнь, что истончается, ему нравилась в не меньшей степени. Коридор с палатами впадал в смотровую комнату. Под самым потолком висел телевизор в синей клетке с тонкими прутьями, телевизор напоминал попугая. Большой зеленоватый ковер на полу. На круглых столиках лежали шахматные доски, монополия, пазлы, нарды, морской бой, словом, игры. Рыбкин шел тихо, словно индейский проводник, однако половицы и тут продолжали предательски поскрипывать. И быть индейским проводником Коле не всегда удавалось. Винтовая черная лестница на второй этаж привлекла внимание мужчины. Свет уличного фонаря едва проникал в зарешеченное оконце.

Николай Спартакович обнаружил внезапно силуэт человека, сидящего в желтом кресле с деревянными подлокотниками. Гражданин с некоторым сожалением произнес: такое странное чувство ни во что не погруженности, ничем не взволнованности, ни к кому не расположенности. Рыбкин, стоя на первой ступеньке лестницы, окинул взглядом смотровую комнату. Силуэтов, облаченных в больничные пижамы, стало значительно больше. Неизвестный мужчина, рассматривая что-то у окна, воскликнул: смотрите, смотрите, тихий ангел пролетел! Ему тут же возразил другой пациент, вставший на кресло: да нет, где-то милиционер издох. У Рыбкина похолодели ладошки, по спине побежали мурашки. А воздух сделался каким-то суматошным, дышать стало трудней. Николай как будто опьянел от воздуха. Два гражданина в паре метров от Коли сидят за столом, играя в шахматы. Один говорит другому: Степа, ты книгу прочитал, будь добр, верни. Собеседник ему отвечает: книгу не надо давать читать, книгу, которую давали читать, есть книга

развратница. Николай Спартакович, старательно вглядываясь в лица, никак не мог распознать подробностей. Мужчина, назвавший книгу развратницей, вдруг обратился к журналисту: а вы, как думаете, разве я не прав? Рыбкин, смешавшись, не успел сказать ничего дельного. Рука Миши Токарева легла на его плечо, литератор стоял на ступеньку повыше. Полушепотом он произнес: не отвечай, мой мальчик, не отвечай. – Миша, я вас искал, – разворачиваясь, забормотал Коля. Поэт, увлекая Рыбкина вверх по лестнице, напряженно проговорил: не здесь, мой мальчик, эти несчастные, не пережившие Вальпургиевой ночи, весьма опасны.

Николай Спартакович и литератор поднялись на второй этаж. Вдаль уплывали корабли, а также коридор. Где-то поддувало, холодный воздух поскрипывал, точно половицы, точно панцирная кровать в дешевой гостинице. Поэт был небрит, его усы напоминали тонкие брови Марлен Дитрих. Желтые очки-авиаторы казались откровенно нелепыми. – Миша, у меня к вам срочное дело, – порывисто начал Коля. Токарев его перебил: потом, нельзя оставаться на месте, помогите, будьте любезны. Он завел Рыбкина в какое-то узкое техническое помещение. Подсвечивая телефонным фонариком, литератор неумоимо пробирался вперед, гремя швабрами, ведрами, шурша мешками с порошком. Николай Спартакович, не задавая домашнего задания и вопросов, безропотно следовал за выдающимся современником. Внезапно поэт произнес: не имея семейных доходов, не имея буржуазных навыков для выживания, сколько-нибудь летний интеллеktуал начинает понемногу терять рассудок. Мужчины подошли к металлическому шкафу. – Помогите отодвинуть этого монстра времен мезозойской эры, – попросил Миша. Рыбкин уперся ногой в полку стеллажа, на котором стояли моющие средства в пластиковых канистрах, освежители воздуха с ароматом сирени. Предмет мебели с большой неохотой отодвинулся. В образовавшейся расщелине, насколько хватало луча фонарика, Коля разглядел кухню. Он запоздало спросил Токарева: вы полагаете, что распознали во мне интеллигента, не обладающего буржуазными навыками? – Ошибся, признаю, не опознал вас как следует, – ответил поспешно поэт, протискиваясь на кухню психиатрической лечебницы.

На удивление, проход оказался длинным, узким коридорчиком с низкими сводами. – Сегодня важный день, мой мальчик, сегодня мы варим поминальный морковный чай, – произнес Миша, шагая, пригнувшись. – В честь кого? – не удержавшись, проявил любопытство Рыбкин. – В честь хорошего человека, фотографа Дмитрия Маркова, – охотно пояснил Токарев. И джентльмены очутились на кухне. В красном углу икона, дровница. Большие печи для приготовления пищи, стены выстланы кафельными плитками. Рыбкин вспомнил фотографии дореволюционных домов. В глубочайших небесных углах кухни серебрилась паутина. В фиолетовом тазике, что стоял на табуретке с паучьими металлическими ножками. Покоились снулые сомы. Их черные шкуры были покрыты наледью. Отчего-то Николай Спартакович подумал, сомы предназначены кошечке, дремлющей на сестринском посту. А еще Рыбкин ощутил, на кухне помимо них присутствует некий не учтенный джентльмен.

Это был он, статный, невообразимо высокий, я бы сказал, будь девчонкой, лощеный, выбритые до синевы щеки, прямой нос, массивный подбородок. Это был Александр, Саша Робека, служащий из министерства усатых дел, заядлый геодезист, этнограф, гражданин, чье присутствие в романах Токарева особенно умиляло меня в юности. Этот призрак Александра Вольфа был вполне реален. И сейчас он стоял передо мной. Потрескивали поленья в большой кухонной печи. Робека в зеленой клетчатой пижаме, такую пижаму, вероятно, могла носить до него Валерия Новодворская, например. Я взглянул в его глаза и там, в этих чужих глазах я увидел горящие джунгли, подбитый вертолет, что с грациозностью стрекозы, измученной Васечкиным, низвергается на рисовое поле. Внезапно Саша широко улыбнулся, ровные голубоватые зубы, я смотрел на его зубы и был не в силах отвести взгляд. – Ах, топонимика твоих родинок завела меня в Чечню времен обострения конфликта, – сказал почти нараспев Миша. Он сидел в противоположном конце кухни, наслаждаясь жаром от печи, что котик на теплотрассе. Литератор, чиркнув спичкой, подпалил кончик сигареты. Смущенный огонек выхватил у мглы знакомые черты, вздернутый нос, черные усы, недельную щетину, лоб в глубоких шрамах от шрапнели,

очки со светло-желтыми стеклами. Волосы цвета вороного крыла, средней длины, пробор на правую сторону.

– Милый друг, не скачай, я вернусь в этот дикий Дублин, мы должны поймать дурацкого Ле-прекона, мой друг, – сделался словоохотлив он, встал, подошел к Саше, похлопал его по спине. Полусон овладел мною, тени заострились, звуки стали глуше. – Зачем художнику, пусть и не в юности, но вовсе не в старости, Лепрекон? – спросил я, зевнув, едва не слетел с грубо сколоченной синей табуретки. Тепло кухни льстивой усталостью просачивалось в меня. – А у нас далеко идущие планы, мы попросим у него демографический взрыв организовать, ведь, по статистике, все так стремительно меняется, бомбы, сектанты, политика, по статистике на десять ребят две женщины, – произнес без тени улыбки Миша. – И то, они, – он шумно принохался, – как правило, наследники очень сомнительного дискурса с точки зрения, понимаешь, основ безопасной жизнедеятельности, правил проведения митингов и так далее и тому подобное. Поэт рассмеялся как мальчишка. И продолжил свой монолог, копаясь в навесных шкафах: до чего прекрасная весна грядет, господа, настоящая Грета Гарбо. Писатель бросил в раковину невообразимо большую, килограмма на полтора, морковку. Прикрикнул довольно: прелестно! – Кто время целовал в измученное вымя, тому прощается многое, мой мальчик, – подмигнул мне Токарев, извлекая из нижнего шкафчика банку рассыпчатого чая со слоном. Сделалось жарче, толстовка, напитавшись потом, тянула к самому полу. Снял неволящий меня балахон, остался в одной белой майке и джинсах.

Робека затанул песню Sweet Dreams, я безошибочно перевел, сладкие сны. Не переставая петь, Александр уверенным движением топорика расколол бревно на четыре части. Литератор ловко нарезал помьютую морковь. Ссыпал на глаз чай в огромную алюминиевую кастрюлю, туда же закинул морку. Решившись заговорить, я сказал ему: Миша, мы не могли бы обсудить одно дело? – Александр, черного перца по вкусу! – раздавал указания Миша, словно вождь краснокожих. Робека насыпал предположительно черный перец, три щепотки, в посудину. Литератор чиркнул спичкой, повторно закурив. Повевало смолой, видно, начала прогорать на дровах. Токарев поставил кастрюлю в раковину, открыл холодную воду. – О чем ты хотел поговорить, мой мальчик? – спросил Миша. На улице горели огни снегоочистительной машины. Кухня утопла в медово-желтом свете. Саша поставил кастрюлю на плитку. Я приблизился к поэту, сказав: деликатный вопрос, не могли бы вы поехать со мной в Москву и провести прямой эфир, поговорить о снах.

Литератор сделал два стремительных шага, очутившись у меня за спиной. – Прелестно, прелестно, прелестно, – произнес он, приобнимая за плечо. Он подвел меня к окошку, где в млечной дымке мигрировали далекие оранжевые огоньки, глаза неведомых существ. Токарев спросил: ты помнишь свой первый поцелуй, как это было? Робека флегматично помешивал варево на плите. Миша не дал мне ответить, произнес: ее звали София, наш поцелуй превзошел язык, после нашего поцелуя только и мог, что мычать, попугивая мамушку тем зимним вечером. Саша бархатно запел: темная ночь, только пули свистят над виском. Робека весьма экстравагантно нанес на свои щеки полоски золой. Я вновь вернулся к своему разговору: Миша, главный спонсор мероприятия фармацевты, речь идет о новых нейрорепликах третьего поколения. Литератор вновь оживился: прелестно, прелестно, Александр, как обстоят дела с нашим чаем? – Готовность один, приступаю к просеиванию, – сдержанно доложил Робека.

Николай Спартакович вспомнил детский лагерь, куда его сослали в числе прочих малоимущих. Они подобным образом пробрались в ночной тиши на кухню. И странный мальчик, что делал амулеты из птичьих косточек, предложил вскрыть банку сгущенного молока. Зудели сверчки, вдали глухо лаяли собаки. И ветер влажный, душный колебал верхи деревьев. А наши родители разъехались на ночных автобусах по домам, удовлетворенные положением своих отпрысков на шахматной доске. Стоит заметить, к Рыбкину в тот день приехал только папа Спартак. Родителей усадили на трибуны, а дети в костюмах шахматных фигур на громадной доске исполняли волю двух ботаников. Коле досталась роль пешки. Спартак воскричал: только не мой сын, вы посмотрите, уважаемые родители, он же слон! Никто из уважаемых родителей спорить с ним не стал. А

Николаю поменяли костюм. И вот ночью полной созвездий. Пробравшись на кухню. Мальчишки, смеясь и шуря, уплетали эту гущенку прямо руками. И от звезд текли серебряные нити. И дрожал, вне всякого сомнения, «Юпитер». И совы ухали.

– Бери свой чай, мой мальчик, – вернул на кухню лечебницы Токарев. Николай Спартакович, Робека и литератор сидели полукругом пред горячей печью. Они пили поразительно крепкий морковный чай. Разлитый по железным кружкам с помятыми боками. Миша сделал маленький глоток, сказав: вспоминаем псковского фотографа Дмитрия Маркова, волонтера в психоневрологическом интернате, общественного деятеля. Николай Спартакович хлебнул напиток. И ощутил, как раскаленный шар катится по пищеводу, чтобы где-то в желудке взорваться на тысячи шариков поменьше. Сердце отчаянно стучало. Робека взглянул на дрожание Колины руки, цыкнув, покачал головой. В печке потрескивали сухие бревна. – Александр, вы, кажется, самую малость переборщили с перцем, – сказал Токарев, склонив голову набок, рассматривая пламенные языки. – А когда ушел в мир духов фотографа? – Николай неожиданно для самого себя использовал столь патетичный оборот. Миша и Александр сделали по глотку этого страшного чая. И литератор ответил: шестнадцатого февраля двадцать четвертого года. И продолжил: следы косули на снегу есть речь, отсутствуют слова. Коля никак не мог подобрать момент, чтобы вновь заговорить о поездке. – Прочь сомнения, мой друг, мы поедем в Москву, лечить насморк бубонной чумой буржуазных разжиревших господ, – пропел неожиданно Токарев, опрокинув табурет, на котором сидел. Николай Спартакович кое-как допил чай, а потом рухнул, словно подпиленная пихта, на липкий линолеум.

– Сашенька, нашего гостя ослепили звезды психиатрической больницы, – услышал голос Токарева Николай. – Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни, – приятным голосом запел Робека. И две сильные руки, по-видимому, Александра, усадили Рыбкина на подоконник. Кто-то похлопал его по щеке. И Николай Спартакович, что называется, пришел в себя. – Который у нас час в общем зачете дня? – спросил Миша, кура у печки. Рыбкин подметил, как Саша сверяется с часами «Ракета» на кожаном ремешке. – Восемь-ноль-ноль, – сообщил он беспристрастно. Литератор сказал: так. Перестал использовать придаточные предложения, отметил Коля. Снегоочистительная машина за окном утратила свою витальность, что ли, желтый свет потух, двигатель заглох. И в кухне стало темнее. Под влиянием сквозняка захлопнулась печная створка. На улице послышался полный доисторической печали женский крик. Заставивший Николая Спартаковича побледнеть. Он оробело спросил: что здесь происходит? – Да есть у нас такой чудной пенсионер, Василий Михайлович Моро, – пояснил задумчиво Миша. Затем он зажег спичку, спичка медленно прогорала. Наконец потухла вовсе. Указывая головешкой на Робеку, Токарев сказал: наши пути тут расходятся, Саша. Александр, переворачивая кочергой поленья в печи, взглянул на поэта и молча кивнул. Николай Спартакович, терзаемый безотчетным страхом, спросил: простите, а кто это кричал? – Не жилец, – многозначительно ответил служащий министерства усатых дел. И принялся напевать: дайте мне номер, и я позвоню, о чем-нибудь в трубку проговорю, о чем, например, все мои стихи, узнаешь и скажешь, хи-хи-хи-хи.

– Пойдем, Коля, у нас неприлично много дел, – произнес Токарев, подойдя к белой пластиковой двери. Уходим другим путем, отметил Николай. Литератор достал из кармана связку ключей. Рыбкин следовал по пятам. Джентльмены очутились в коридоре с палатами. Соленые волны храпа накачивали, сбивали с ног. Миша с легкостью проник в новое помещение. Луч фонарика отобрал у темноты две стиральные машинки, порошки на полках, аккуратно сложенные стопками клетчатые синие рубашки, штаны. Из прачечной мужчины вышли на пожарную лестницу, на улице шел снег. Рыбкин поежился от холода. Токарев крикнул, резко спускаясь: сейчас побыстрее шагай, пока не заметили. Коля не стал уточнять столь важные детали, поскольку доверял поэту, пережившему некогда испытание ядерной боеголовки. Николай не успел додумать, по каким иным причинам следует доверять Мише. Литератор вошел в неприметную металлическую дверь, выкрашенную темно-зеленой краской. Внутри горели флуоресцентные лампы, пахло кофе, хлоркой, одеколоном с нотками кипариса. За монитором, на который транслировались изображения с десятка камер. Восседал гражданин весьма приятной наружности.

Щетинистое лицо, щетина напоминает хвойные иголки. Прямоугольные очки в красной оправе. Глаза как у Николая Чудотворца на иконе. Лыжная бело-синяя шапка, зеленоватый бушлат, синие штаны санитара, бежевые резиновые тапки с закрытыми мысками. – Милейший Максим, в связи с определенными обстоятельствами вынужден покинуть данный санаторий, – игриво произнес литератор. Гражданин за компьютером голосом бархатным, словно лист бумаги, из которого Коля делал открытку к восьмому марта для матери, когда они проживали в Новосибирске, произнес: Токарев, опять режим нарушаем. Николай Спартакович, рассматривая красивые, большие, словно кедровые шишки, кулаки санитара Максима, спросил: а что происходит? Никто из присутствующих не удостоил Рыбкина ответом. – Тебе, может, подняться в сестринскую, они тебе таблеток на дорожку отсыпят, – посоветовал Макс, доставая из черного шкафа, напоминающего сейф, синий мусорный пакет. Санитар передал его литератору, сказав: распишись за вещички. Николай Спартакович повторил свой вопрос: Михаил, а что происходит? – О, мой мальчик, – ответил поэт, – Василий Михайлович Моро живет в соседнем доме, он вывел у себя на чердаке смертоносных голубей. Максим с готовностью подтвердил, давая Токареву расписаться в тетради: голуби с металлическими клювами, целая стая, вечерами летают над нашим районом, людей жрут. До Рыбкина запоздало стал доходить смысл его слов. Он переспросил: Миша, мы выживем? – Не исключено, – ответил поэт. Облачаясь в красную мастерку, синие школьные брюки, кроссовки фирмы «Патрули», кожаную коричневую куртку. – А как мы сейчас там? – воскликнул Коля. Санитар передал нашему литератору клетчатую сумку, по-видимому, с остальными вещами. Максим елейно улыбнулся Николаю, сказав: сынок, мы вооружены гласными.

– И все-таки второй год не можешь долечиться, – обратился слушающий лечебницы к Токареву, клеща по клавиатуре. – О, не плачьте, мои друзья, не уподобляйтесь ГЭС, – напел хрипло Миша. И пояснил Рыбкину: мой мальчик, разделим, как Польшу, больничный двор. Максим, поморщившись, сказал: Токарев, не пудри мозги человеку, там голуби с железными клювами размером с кошку закусывают людьми. Николай буквально увидел, как соткались вдруг из пустоты огромные птицы, терзающие плоть припозднившейся посетительницы. – А как же этому пенсионеру Моро все сходит с рук? – задал чрезвычайно важный вопрос Рыбкин. – Пропал пенсионер, а пернатые его ввечеру летают, знаете ли, – объяснил Максим, закуривая. Миша повесил на плечо свой клетчатый баул. Кивнул санитару: месье, мы пойдем, запускай шарманку.

Литератор и Коля, сокрытые предбанником, глядели на стаю гарпий, ожесточенно воркующих, кружащихся над больничным двором. Внезапно зазвучали репродукторы, обворожительная Герман запела: светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Голуби волшебным образом успокоились, они расселись на ветках многовекового дуба. И на словах: здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы Токарев побежал к проходной. Коля за ним следом, беспрестанно оскальзываясь. Рыбкин чувствовал на себе полные плотоядного интереса взгляды птичек. – Когда песня завершится, они нами отужинают, – воскричал Миша, задорно рассмеявшись, как мальчишка из «Ералаша». Аннушка Герман, пой, золотце, пой, мысленно подбадривал мужчину. Легкие пылали как спирт, а спирт пылал как пионерка пред комсомольцем-красавчиком. На финальном аккорде Николай Спартакович прыгнул рыбой в дверной проем. Токарев успел присесть на стол с зеленым сукном. Он предусмотрительно подложил кирпич, чтобы дверь не закрылась, чтобы Николай Спартакович осуществил свой прыжок рыбой. Репродукторы стихли. А злые голуби сорвались с насиженных мест. Взвились над лечебницей.

– А если бы мы не успели? – тяжело дыша, спросил Коля. – Песня заиклена, – ответил невозмутимо Токарев. Станный гражданин, что кушал снег, отсутствовал. – Чем бы вы объяснили неравенство дня и ночи? – неожиданно поинтересовался поэт. Рыбкин, опустив голову, сидел на обледенелом линолеуме. Он был не в силах вести пространных разговоров. В избушку вошел мужчина в коричневом пиджаке и желтой олимпийке, с посеребренной головою. – Токарев, – сказал он, прищурив голубые глаза, – счастливого пути. – Николай в очередной раз вздрогнул от неестественно детского голоса гражданина. И с превеликой радостью поспешил вослед за литера-

тором. Который бросил на прощанье: увидимся, до новых встреч. И вышел в девять часов из проходной дурдома в город Иркутск. Без проблем пойманное такси довезло мужчин до аэропорта.

Ночной рейс, подобный смерти понарошку. Самолет угодил в зону турбулентности. Николай крепко зажмурил глаза, вцепился в подлокотники. И с удивлением услышал голос Токарева, монотонный, пчелиный. Остальные пассажиры робко поддержали поэта. Рыбкин вслушался и непроизвольно стал повторять вместе со всеми. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Слава отцу и сыну и святому духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

**В четырнадцатой главе будет много бессвязной болтовни, воспоминаний, а вам я желаю процветания и понимания среди сверстников, юные читатели**

Как мы знаем, в советское время не было проверочных слов, и мы были вынуждены писать без ошибок. Частенько начало медленно и странно, медленно и странно, медленно и странно.

Возвеселившись от корреспонденции граждан читателей. В частности, машиниста электровоза Степана, банковской служащей Марины, алкоголика на седьмой неделе трезвости Матвея. И разных иных достопочтенных читателей. Уведомляю с присущей мне речистостью, бабушку я люблю. И ваши письма, выражающие определенные сомнения по данному вопросу. Мол, отчего ты пишешь в своих «Плохих мальчиках, попадающих в Сибирь». О своей бабушке разрушительно, как Жак Деррида, иронично, как Семен Фарада. Нельзя ли в некотором смысле поперчить свой рассказ однозначностью, присущей, скажем, текстам Валентина Распутина, или блистательной прозе Владимира Маканина. И мне ответить гражданам читателям совершенно несложно, и мне ответить гражданам читателям, что поставить себе внутримышечно витамины за радость. То есть, говоря откровенно, мои соотечественники. Не привлекая к вопросу своих школьных учителей, санитаря Максима из девятого отделения лечебницы, откуда меня вызволил интеллигентнейший Николай Спартакович Рыбкин. Спешу сообщить, бабушку я люблю. И в подтверждение данного тезиса привожу первую пришедшую в мою грешную голову историю. Историю о наших с бабулей игрищах. Уверен, любые сомнения развеются касательно двойственности прочтений. И в день, когда миру придет конец, не подхватите простуду, коллеги, а также дорогие читатели.

Ах, кто это несется вскачь, да в желтом купальнике, крепко сжимая сачок, то нагоняя, то плетясь клячей за шаровой молнией. Ах, это офтальмолог Элеонора Степановна Аквитанская. А это, кто, другой, другой такой несется в купальнике сиреневом, в купальнике закрытом, уж не бухгалтерша судостроительного, Матильда Ивановна Датская. Она, особенно в профиль. Иные подруги в иных купальных костюмах все заняты, что называется, ловлей этого невообразимо электрического шарика. Вздор, они ловили сферу. Их кожа бледна, точно сыр камамбер. Их тела словно писаны Рубенсом. На них намного приятней глядеть, чем подписывать смертные приговоры. О, вы бы знали, сколь кровожаден я был в те годы, в садике нянечки называли меня Лаврентий Павлович и никак иначе.

Моя бабушка, она была телеграфисткой и постоянно пила диазепам. Кто сильнее, каратистка или телеграфистка, спрашивал я себя и отвечал: диазепам. У соседских детей тоже были бабушки, но почему-то не было дедушек, у меня тоже не было дедушки. Хотя, стоит признаться, пожилые женщины, воспитывающие нас, являлись весьма смелыми дамами. Представьте, брать такую ответственность за подрастающее поколение, за целое отделение кровожадных и безумных ребятишек. Это совсем не то же, что решать уравнения, где нужно найти корень из двух в степени нулевой. Куда подевались нынче все они, бабушки, дедушки, из чьих косточек выросли вишни. Бабушки, дедушки, чьи косточки сделались яблоней, грушей, сиренью. Бабушки, дедушки, чьи косточки выросли в говядину и свинину, затем попали на рынок, получив синее клеймо. Частенько начало медленно и странно, медленно и странно, медленно и странно.

Бабушка, мы уже достаточно детерминированы в окружающий мир или еще не детерминированы в достаточной степени. Вспоминал я, облаченный в желтый прорезиненный дождевик, сжи-

мая свой сачок. И только поле вокруг, русское поле, гудящие линии электропередач, их сложно-сочиненные, невообразимые лапки. Люблю, говаривал я бабушкиным подругам, грозу в начале мая, а в январе, вернее, в феврале у меня день рождения, четырнадцатого числа, между прочим. – Знаем, кретин! – радостно кричали бабушкины подруги. – Лови же, лови! – подначивала коллега моей родственницы, телеграфистка Елизавета Николаевна Тюдор. С профилем как у борзой собаки, с вермишелью волос, родимым пятном на щеке. Волосы попросту растрепались, до чего было велико волнение, что там, охота на зайца и рядом не стоит. По моему скромному мнению, охота на шаровую молнию есть подлинная победа духа над телом, яйца на курицей, школьника над тригонометрией. Шар плыл ко мне, клацали пасти электрических змеек. И воздух слоеный, а почва слоиста. И я, ваш покорнейший сын, в желтом дождевике решительно ловлю данного зверя. Если желеете, могу продемонстрировать шрам на темечке, оставленный электрическим зверем. То есть, конечно, не все разом, ибо чреватое новыми повреждениями. Представьте себе, столько граждан одновременно потрогаю шрам. Начало медленно и странно, медленно и странно.

Безжалостно любопытные, можно сказать, соразмерные сфинксам. Читательницы Саша и Женя, Даша, Виктория. Задаются вопросом, справедливым отчасти. Кому посвященье в романе о мальчике Федоре, чей папа силен в метафизике. Миша, откуда взялось посвящение твоей бывшей жене, а также детям жены от прошлых браков, благодаря которым роман сочинился бы раньше на полгода. О, глазированные Саша и Женя, Даша, Виктория. Пребывая в этой изношенной, словно зимняя обувь, комнате-телестудии. Я расскажу вам обстоятельным образом, точнее говоря, составлю предложенья из слов, что граждане сдали некогда в комиссионку.

То были времена, когда я шагал ослепительно голый в своем безумии по библиотекам страны. Дерзновенно читая верлибры. Граждане нуждались в поэзии, началась очередная война. Граждане нуждались в идиотизме, доведенном до автоматизма. Мы все, пенсионеры, студенты, школьники, малоимущие, иные бюджетники с нескрываемым трепетом глядели на бомбы. Эти бомбы летели чрезвычайно неспешно. Иными словами, было нельзя предугадать, когда они нас отоварят, завтра ли, через год, может быть, вообще пронесет. – Смотрите, как выглядит килотонна демократии, говорил бодро, скрывая волнение. А граждане посмеивались, благодарили за столь добродушную оценку действительности.

Помнится, в Доме культуры подмосковного города Жуковский. В зале, как будто изъятом из советских времен. Деревянные кресла, коричневые сидения из дерматина. В проходах разбросано конфетти, транспарант: с днем труда, ура, первое мая! Пообвыкшись в шкуре поэта, я поднялся на сцену, присел за школьную парту, открыл поэтический сборник: одноклассница, проснувшаяся танком. Кротким взглядом окинул зрительный зал. И нисколько не удивился. Слушателей было пятеро. Давнишний знакомый гэбист, Альберт Неаполитанский, сидящий во втором ряду с видеокамерой, нацеленной на меня. В своем сером плаще, в твидовой шляпке. Он следовал за мной неотступно. Альберт с лицом енота, принимающего кофейные ванны в дешевых мотелях, чтобы быть в тонусе. Чтобы продолжать составлять досье на литератора.

В четвертом ряду восседали две филологические девы. Я распознал их по специфической речи. – Что за пошляк этот Миша Токарева, вылитый Чарльз Буковский, – промолвила барышня в черной долазке, квадратных очках, рыжими волосами, собранными в хвост. – Я слышала, он совершенно несносен, пугается в падежах и склонениях, склоняет к разному девушкам, – вторила ей гражданка в сером платье, круглых очках, блондинка с каре. Читая стихотворение об огромных голубях, что подкармливают маленьких бабушек. Приметил в шестом ряду мужчину в темно-желтом костюме-тройке, с головою лося. Хороший знак, подумалось с определенной долей иронии. Пятая слушательница горела звездой в этом дрожащем эфире, сотканном из наивных стихотворений. И слова тянулись, точно ириска в потных ладошках. И совсем скоро чтения завершились.

Барышня, немногим за двадцать. Припухлые зеленые губы. Синие полумесяцы-сережки. Кудрявые черные волосы распущены. Лимонного цвета дождевой плащ. Окликнула, ее голос что гусиное перышко, невесомый. На улице моросило, у Дома культуры города Жуковский моросило.



Спинами терлись о дождь. В полудневшем воздухе проступали черты хорошенькой такой весны. – Эй, литератор, давно не виделись, – сказала она, наморщив свое личико, усыпанное веснушками. В полной мере готовый к половодью чувств, я спросил: мы знакомы? Девушка в тяжелых красных ботинках, взяв меня под локоть, ответила: как же, двадцать восемь лет назад мы были сперматозоидами, летели к одной яйцеклетке, но ты оказался удачливей, дорогой. – Если вы ничего не путаете, можем позавтракать вместе, тут рядом неплохая столовая, – сказал ей. И беспородный дождь, потерявший хозяина, рыскал по округе.

Милые, словно перегоревший золотой волосок Эдисона, Саша и Женя, Даша, Виктория. Именно так я познакомился с бывшей гражданской женою Дианой. Помню, разгоряченные, лежали с нею в постели, началось лето. Пар наших электрических сигарет вылетал в приоткрытое окно. – Однажды я заглянула в свою комнату, там не было меня, и я поняла, что вот меня может не быть, – испуганно прошептала Диана, прильнув к своему мужу. На полу лежал мой золотой плащ из одуванчиков, собранный на лугу изумрудном. Девушке удалось напомнить старому рыцарю о подвиге тайном и трудном. И мы лежали там, в ее шестикомнатной квартире, зараженные беспамятством. Я был заражен беспамятством, ибо не помнил, как будучи сперматозоидом повстречался со своею супругой. Началось лето. Железный скрежет мира, проиграв нашему любовному лепету, не беспокоил более. Засобиравшись на службу, в юношескую библиотеку, читать очередные стихи. Услыхал женушку, которая зачем-то накрылась с головой одеялом: не уходи, мой Жан Жене. Я надевал свои вельветовые брюки, держась рукою за стену. Обои с березовой рощей, штрих-код березовой рощи.

Незабвенные Саша и Женя, Даша, Виктория, чья жизнь исполнена таинственной неги, наоборот, таинственной неги. Не далее, чем однажды, тем утром, когда началось лето. Супруга сказала: мне нужно тебе кое в чем признаться, то есть, конечно, сейчас не лучшее время. В коридоре, за пределами нашей спальни кто-то ходил. – Диана, что происходит? – обескураженно воскликнул я. Барышня совершенно не дала себе труда объяснить. Дверь с витражом голубого лоса в темно-зеленом лесу отворилась, на пороге возникли двое. Он обширный мужчина в черной кожаной куртке, белой футболке и джинсах. Короткие волосы напоминали пух у цыпленка. Черные пуговицы глаз, улыбка, на щеках румянец. Она, должно быть, сестра, комплекция та же, волосы те же, глаза цвета кораллов. Зеленая помада, как у Дианы. Голубой сарафан, фиолетовые лосины. Решил немедленно разузнать, что происходит, в смысле, что происходит. Однако услышал оглушительный хруст, едва не лишился рассудка. Великаны играючи раскололи руками грецкие орехи, как будто бы черепа, подумал безрадостно. Супруга закуталась в одеяло, встала с постели. – Познакомься, это мои дети, Толя и Оля, – сказала она. – Бог ты мой, сколько же им лет, – закричал я, хватаясь за сердце. – Толику восемь, Оленьке десять, мы долгое время проживали в зоне экологического бедствия, – произнесла моя обольстительная жена. Послышался новый хруст. – Мама, ням-ням, – хором, низкими голосами сказали детишки. А я брякнулся в деликатный обморок.

За последующие полгода я частенько хлопал удивленно ресницами, всеми ресницами на своем теле. Мы образовали коалицию, а также семью. Диана оказалась страшной собственницей. Мне разрешалось гулять дважды в день, по праздникам трижды, под чутким присмотром своих приемных детей. Впрочем, для грусти не было поводов. С Толей и Олей мы занимались литературой. Выяснили, что дыхание формирует очертания букв. Приблизились к пониманию поэтики Алексея Парщикова. Наконец, выучили алфавит. Их мать, владелица скотобоен, доставшихся от позапрошлого мужа. Была приятно встревожена, видя результаты совместных занятий. – Миша, у меня нет слов, один восторг, какой теперь у наших деток замечательный вокабуляр! – С такими словами Диана бросилась на меня. И мы предались любовным утехам. Девоньки, Саша и Женя, Даша, Виктория. До чего впечатлительная супруга попала мне в жизни. Когда Толя и Оля, оттопырив пухлые мизинчики, сказали: мерси, маман, сея манка весьма вкусна, благодарим вас. Женушка радостно завизжала, не веря собственным ушкам. Однако совсем скоро семейная жизнь стала меня тяготить. Супруга все реже ликовала, видя наши успехи. И даже когда отроки

заговорили на французском, она лишь пожалала плечами. Близился Новый год, моя Диана позабыла закрыть дверь, детки спали. Морозным утром вышел на улицу, поскрипывал снег. И я поехал домой к маме.

Любимые шизофреники, лунатики, трубадуры, миннезингеры, трикстеры. Акционисты и декабристы, модернисты. Таксисты и пианисты, баптисты, экономисты, телефонисты. Читатели Агаты Кристи. Пацифисты, абстракционисты. Граждане, боящиеся приставов, дантистов, экзистенциалистов. Любители спирта чистого, инородных артистов. Дети чекистов, правнуки неистовых капиталистов. Закодировавшиеся специалисты, дезинсекторы, трактористы и портретисты. А также филологи, литературоведы, люди зависимые, люди в ремиссии, девушка Патриция, что некогда не сдержалась и порезала в приступе безграничной любви. Вопрос, поднимаемый вами, подобен пирожку, оброненному мальчиком в общественном туалете, подобен материнскому окрику: не поднимай, антисанитария! Крайне важный вопрос, отчего же я снюсю некоторым людям в этой жизни, оставшейся у нас на всякий случай, оставшейся у нас в качестве последней попытки. Столько предстоит успеть, поменять кошкам воду, а еще поменять кошкам воду. Сегодня великая ночь, ночь с пятницы на понедельник, числа я не помню, месяца тоже. Что ж, самое время поведать удивительную историю, посвященную променаду по чужим снам.

Как известно, я учился в коррекционной школе, но пусть вас это не тревожит, я не хочу печалить вас ничем и все такое. Учиться мне довелось в коррекционной школе всего год. Наша учительница, Тьма Ивановна, была женщиной выдающейся, она говорила, те из вас, кто плохо сдаст ЕГЭ, окажется потом в ОПГ. Правда, никакой такой выпускной экзамен мы и не должны были сдавать. Именно ей принадлежат судьбоносные решения относительно судьбы моих выдающихся современников. Будучи жителями сибирской глубинки, где проживали сплошь клирики, да крестьяне, несколько рыцарей, один феодал. В нашем городке пребывал какое-то время медиевист, изучал, классифицировал, однажды он взял да влюбился в Анну Петровну Гельди. Девушку весьма приятной наружности, она пекла хлеб, а также сводила с ума всех окрестных мужчин. Позднее выяснилось, Анна Петровна подкладывала заговоренные булавки в хлебобулочные изделия. Когда об этом стало известно общественности, рассерженные тетеньки сожгли на костре Гельди в качестве профилактики венерических заболеваний. Чрезвычайно расстроившийся медиевист покинул наш уездный город, вернулся обратно в столицу, в Иркутск. Надеюсь, вы представляете, уровень религиозности был на высочайшем уровне. Катехизисом зачитывались даже малыши, а люди постарше говорились воспоследовать на голгофу.

Стоит ли говорить, мальчишки, девчонки, предрасположенные к ясновидению, пирокинезу, телекинезу, словом, те из нас, кто ужасно заикался, не мог выучить стихотворение или же страдал энурезом и другими расстройствами психики. Воспринимались жителями нашей глубинки несколько неоднозначно. Предвидя вопрос, Миша, неужели вас, таких удивительных, сжигали, горячо заверю читателя, не сжигали, не волнуйтесь, на моей памяти подобных случаев, наверное, нет. Однако, как я уже сказал ранее, горожане предпочитали не связываться с такими талантливыми детьми. Завидя на улице ребенка-телепата, граждане лишней раз переходили на другую сторону улицы. Нередко наши братья и сестры, едва достигнув совершеннолетия, были замечены употребляющими спиртных напитков, а также нередко их видели в похотливых руках каких-нибудь бюргеров. Ибо непостижимое одиночество, что на протяжении всего нашего детства окружало нас, весьма паршивым образом сказывалось на эмоциональном состоянии. Множество примеров стоит у меня перед глазами, когда великие мальчишки, девчонки, отвергнутые общеобразовательной системой, перестают беречь себя совершенно. Перестают беречь себя подобно тому, как люди средневековья не берегли. Подобно тому, как беременная жена короля Франции Филиппа Второго преставилась, неудачно прокатившись на лошади. А вспомните сына короля Англии Генриха Первого, что вы, зачем ему понадобилось с пьяной командой разбиваться о скалы, самая настоящая дурость, право слово.

Тело улицы, пронзенное туманом, напоминало холодец, застывший на балконе в минус пятьдесят. Тем восхитительным утром, когда Тьма Ивановна решилась со мною сотрудничать, я пришел

в единственную общеобразовательную школу, где проходили обучение вполне обычные детки, на ком не лежала печать таинственной дурашливости. Первым уроком стояла физическая культура, в актовом зале мы в белых маечках, синих шортиках выстроились вдоль шведских стенок. Учитель, обладающий дряблым голосом, истомленным лицом, сорока годами трудового стажа. Учитель, в чьем облике присутствовали неуловимые черты французского, средневекового историка по имени Жан Жуанвиль, соратника короля Людовика Девятого. Некогда попросившего после кончины Людовика, после того, как короля канонизировали, чтобы для него лично у царственных останков отрезали пальчик. Физкультурник ставил перед нами задачи порою невыполнимые. К примеру, на субботнике он попросил соорудить кострище, пригодное для того, чтобы сжечь надежды старого мира. Откровенно говоря, мы были смущены, получив подобное задание. – Что позволяет себе этот старый развратник, – воскликнула девица по имени Агиография. – Верно, давайте поднимем вопрос на самом высоком уровне, – поддержал ее мальчишка по имени Агностицизм. Словом, наш класс в белых маечках и синих шортиках выстроился вдоль шведских стенок. Преподаватель распинался пред нами, его желтоватые мощи, расположенные под толстым стеклом, вызывали неоднозначное чувство. С одной стороны, коллектив педагогов ценил Адамита Константиновича за его не конфликтность, с другой же физкультурник был чрезвычайно неповоротливым. Тяжеленную тумбу с этим стеклянным футляром приходилось двигать ученикам. К тому же общался он с нами мысленно, поэтому не всегда удавалось с точностью определить, говорит ли он саркастически.

Внезапно в актовый зал вошла Тьма Ивановна, директор и педагог коррекционной школы. Обращаю ваше внимание, ко времени, что я описываю, относятся первые проявления моего дара. Столь щекотливого дара, вызывающего у обществуности немой вопрос, а следует ли нам беспокоиться. Спешу пояснить, литературный дар, поистине раскрывшийся годам к десяти, воспринимался, в том числе ровесниками, как потенциальная угроза их психике. Я распространял газету собственного сочинения. Нынче вспоминаю с улыбкой рубрики в той газете. Представьте себе, одна была посвящена нашим питомцам. Вернее, творчеству наших питомцев. Я приносил собачек и кошечек в областную библиотеку, где имелся компьютер и принтер. Давая возможность животным потоптаться по клавиатуре, получал забавные сочинения. Допустим, один жук рассказывал о том, как дети не заметили его, закрыли оконные рамы, тем самым обрекли насекомое на сто лет одиночества. Или же вот прекрасный пример подобного высказывания. История львенка, живущего у девочки Акулины. Данный львенок вспоминает о своем отце, что был способен одним прыжком разделаться с целым быком. Также львенок выражает беспокойство относительно собственного неумения поймать воробья.

Тьма Ивановна была женщиной, что вышла замуж под виселицей. Традиция выходить замуж под виселицей в нашем городке себя не изжила, насколько мне известно, до сей поры. Удивительная традиция, когда приговоренного к смертной казни человека могла спасти женщина или мужчина, согласившись на брак. Пьера Гренгуара, к примеру, спасла от смерти цыганка Эсмеральда, венчавшись с ним. Обязательные, словно прихлоп между притопами, слова, сказанные вошедшим педагогом, несколько напугали наш класс. Тетушка поставила в известность, что двум ученикам таким-то надлежит последовать за нею. Отчего-то я сразу же понял, пришло за мною. Глядя в ее отуманенные учениями адвентистов глаза, смело сказал: я готов. Ее карминные губы скривились от неудовольствия, выскочек она не любила. Птичье лицо женщины, скошенный, западающий назад подбородок при недоразвитой нижней челюсти. Длинное черное платье викторианской эпохи. Необычайно бледная кожа Тьмы Ивановны прекрасно сочеталась с этим платьем викторианской эпохи. Великолепная муравьиная талия, которую тут же стал неслышно нахваливать Адамит Константинович. – Адамит Константинович, перестаньте, я сейчас не посмотрю, что вы мощи, пожалуй инквизиторам, вот не дает вам покоя талия моя муравьиная, ой, как не дает, – сказала длинная, точно зимняя ночь, дама.

От дождя лужи морщили лица. Но постойте, как же они морщили свои лица, если на дворе стояла зима. Мы, ученики, отобранные для коррекционной школы, прозванной в народе школой

магии, морщили свои лица. Пепельные волосы Тьмы Ивановны, собранные в пучок, сливались со снегом. А тогда снег, насколько помнится, выдался крайне горячим и вот, пепельным. В черте горела костры. Граждане избавлялись от еретиков, приезжающих в наши края, как обычно утверждают эти еретики, на отдых. Прибывает подобная семейка, скажем, летом. Сын-подросток, мать и отец. Снимают у бабульки какой угол. А сами по сибирским лесам ходят, фотографируют. И ладно бы фотографировали, туристы нарушали наши традиции, наверное, нарушали. Во дворе общеобразовательной школы нас поджидала черная, обворожительная машина марки ГАЗ-М1. Изящная морда с большим радиатором, две круглые фары, напоминающие глаза лягушки. – Быстрее, быстрее, чай не лето, – великолепно образом определила сопровождающая дамочка. Вообще, ничто не чай, кроме самого чая, однако данное знание пришло ко мне существенно позже, во времена моей зрелости. Девчонка, отобранная со мною в школу волшебников, отличалась от сверстников особым умением связываться с представителями своего рода. Ее звали Акулина, она ходила всегда босоногая. Рыженькая, с разноцветными глазами, один черный и второй черный, но всем девочка говорила, что второй голубой. Временами она впадала в совершеннейший транс, говорила старческим голосом, чем несказанно расстраивала остальных ребят, им не хотелось дружить с престарелыми гражданами.

Транспортное средство вальяжно ехало по замерзшей речушке, речушку ту звали Леною. Памятник голове Петра Первого, отметил мысленно я, увидав исполинскую башку в треуголке, да с кручеными усами на том берегу. – Акулина, – говорю, – что вы ожидаете от данной поездки? Спутница предпочла помучить меня безмолвием. – Акулина, вы не ножки Буша, вы мне сами неинтересны в таком случае, – произнес четко, по слогам я. Тьма Ивановна, которая вела нашу карету, рывкнула что-то про то, чтоб мы не смели, значит, флиртовать. Она была женщиной, в сущности, не злой, просто уставшей. Пожалуй, она была капельку злей, чем самый добрый человек страны. Хотелось задать ей вопрос на засыпку, то есть поинтересоваться, флиртовать нам нельзя, понятно, а вот можно ли подарить комплимент, считается ли это постыдным. – Акулина, вы хорошо пахнете, – сказал я. – Ладаном, – зардели щеки моей попутчицы. Лед между нами растаял. Коррекционная школа располагалась на вершине медвежьей горы. То было деревянное трехэтажное строение барачного типа. К нему вела извилистая дорожка, в ту пору чрезвычайно скользкая. Нас встретили два тотема-оберега, деревянные статуи длиннородых старичков. – На выход, голубчики, – сказала тетушка, остановив автомобиль.

Медленно кружились хлопья снега. Мы взосли на крыльцо. На темно-каштановой двери с коваными элементами висела еще нестарая коровья голова. Глаза животного были прикрыты, длинный розовый язык, точно лента кассового аппарата. Тьма Ивановна потянула за него, крупная рогатая скотина распахнула свои удивительные, голубые глазки. – Му, му, му, – заголосила. Никто не спешил открывать. – Может, уснули, – предположил несмело я. – Не носи ерунды, идиот, – была лаконична учительница. Создалось впечатление, что женщина нас не уважала, конечно, кто мы такие, не конституция, чтоб нас уважать, однако элементарное обращение на вы, мне кажется, должно присутствовать. Тетушка принялась стучать кулаком, приговаривая: кто-нибудь живой есть в этой богадельне, нет ли, что за народ. Наконец послышались шаги, послышался сдвигаемый засов. На пороге возник мальчишка лет десяти, его курносое прелестное лицо, его тонкие губы расплылись в апостольской улыбке. Темно-фиолетовое родимое пятнышко на бритой голове напоминало своими очертаниями кота. Повстречавшийся мальчуган был одет в коричневый старенький, мятый костюм-тройку, под пиджаком бордовый джемпер. – Сталкер Петрович, вы что же, уснули, вот пополнение, – дама говорила с мальчонкой как с равным. Новый знакомый поглядел на меня и Акулину своими невообразимо большими, слезящимися васильковыми глазенками. – Вы уж меня извините, у нас потоп в туалете для девочек, – вздрогнув, произнес этот парнишка благожелательно. – Ладно, проехали, займитесь Мишей, я пока для Акулины экскурсию проведу, – Тьма Ивановна к нашей всеобщей неожиданности знала нас по именам. Она решительно схватила за руку мою одноклассницу и потащила ее на второй этаж по чрезвычайно скрипучей лестнице.

– Здравствуйте, Миша, мне крайне приятно видеть вас в этих скорбных стенах, – обратился ко мне мальчишка, протянув свою хилую руку для рукопожатия. Его худощая, вид его худощей, цыплячьей шеи вызвал во мне приступ каких-то, знаете ли, слез. – Что вы, вам нездоровится, у нас тут медпункт за углом, пойдемте, – боже, пацан был так обходителен. – А почему Сталкер Петрович, я знал одного Петровича в свое время, так его намотало на токарный станок, и он перестал быть, – ловко спрятал душившие меня слезы, грубые шутки помогают в этом вопросе. Новый товарищ искренне рассмеялся, сказав: мне импонирует ваше чувство юмора и ваш стиль. В коридоре пахло мылом хозяйственным, тальком, а еще мелом. На почерневших деревянных стенах, стенах, помнивших, должно быть, выдающихся учеников прошлого века, всех тех, кому Джоан Роулинг дала имена. На стенах висели расписания уроков, распятая ворона, не достаточно свежая, чтобы сказать: кар. – Понимаете, у нас учатся самые разные ребята, – говорил мой провожатый, – от кого-то в связи с особенностями отказались родители, кого-то сюда определили врачи. Мы шли вдоль окна, ослепленного белой краской, пол, выкрашенный в светло-зеленый, пружинил. Нам встречались безликие перекошенные двери, как все запущено, промелькнула такая мысль. – В общем-то, мой отец не стал исключением из правил, он излишне, на мой взгляд, переживал за собственную психику, понимаете ли, назвать меня Сталкером посоветовали еще в роддоме, – Петрович подбирал нужные слова. Остановившись у человеческого скелета в противогазе, что притаился в складках сумрака. Не по годам сообразительный мальчик сказал: болезненный процесс рождения, которому все мы были подвержены когда-то, в моем случае вызвал образование пятикилометровой так называемой зоны отчуждения. Привистнув от удивления, обнял своего нового друга. – Не стоит, жалость в этих местах признак, вы будете смеяться, слабости, – произнес Петрович. И продолжил, дотронувшись до моего плеча: не берите в голову, моя матушка Мария бросила отца Пьера тут же, как увидела, во что я превратил роддом.

Я не знал, какими словами поддержать Петровича, мы стояли с ним перед желтой дверью душевой комнаты. Мужиком он был хорошим, уже тогда я разбирался в людях, уже тогда мог отличить подонка от подонка в меньшей степени, в степени нулевой. – Мне бы хотелось посетить туалет, могу это сделать, почему бы и нет? – поинтересовался у Сталкера. Мальчик прикусил нижнюю губу, размышляя над моим вопросом. – Здесь и начинается одна из трудностей, мальчишеский туалет ныне место непростое, – ответил ровесник. Внезапно из душевой послышался чудовищный грохот, затем быстрые шаги. На пороге возник месье лет пятнадцати, малиновый рюмянец на щеках, вихрастый, рыжеволосый, покатые плечи. На босомом незнакомце одно лишь сиреневое банное полотенце. – Тихо плещется вода в стенках унитаза, не забудем никогда имя водолаза! – радостно возвестил он, приблизив свое лицо к моему. Разглядывал своими раскосыми водянистыми глазами. – Александр, мы вас потеряли, сегодня было занятие с логопедом, а вы вон, купаетесь, – грустно произнес мой визави. Этот Александр, щелкнув зубами, выдал следующую тираду: ехал Гитлер на машине в партизанские леса, подорвался он на mine, полетел, как колбаса, с неба звездочка упала прямо Гитлеру на нос, вся Германия узнала, что у Гитлера понос. И побежал радостный по коридору, оставляя премилые влажные следы. – Так что там с туалетом, не хотелось бы в новом коллективе, простите меня, сесть в лужу, – деликатно сказал я. – Да, конечно, вы сами увидите, но будьте крайне осторожны, комната желаний видит самое сокровенное, – Сталкер Петрович вовсе не был похож на мистификатора, отчего-то его словам охотно поверил.

И все-таки Миша являлся настолько ненормальным, что уверенность в собственных силах порой пугала его нерасторопных одноклассников. Поэтому, войдя в помещение, залитое синим светом кварцевых ламп, свисающих с потолка, точно лианы в космическом лесу. Мне пришлось высказаться нецензурно, комната была метров двести в длину, метров пять в ширину. Много белого песка, в воздухе летали мельчайшие частички какого-то пепла. Мочевой пузырь, готовый лопнуть в любое мгновение, кричал на меня остервенело своим ротиком, топал ножками, был взвинчен и негодовал. Комната, насколько видел, кончалась белой растрескавшейся стеной, по-

росшей мхом. Ко всему прочему, там была неприметная такая серая дверца, именно за нею, догадался, находится туалет. Мне предстояло надеть на голову терновый венец, а не kota, в моем положении надевали непосредственно его. Впрочем, сделав шаг, осознал, а ведь нагадить прямо тут, в песок, весьма правомерно, кто ж осудит, свидетелей нет. Сознание мое требовало победы вегетарианства в мире этом, а подсознание все так же изнывало по куску мяса, но чего же хотел я, в самом деле, чего.

Провалившись по щиколотку, подумал некстати, пусть они поверят в себя и станут беспомощными, как дети, слабость, понимаешь, велика, сила ничтожна. И далее я размышлял в соответствии со сценарием. Иными словами, дорогой режиссер, о дереве, что растет нежное такое, гибкое, а когда становится сухим и жестким, оно, понимаешь, умирает. Правильно ли мы говорим, дорогой режиссер, это ли нам необходимо сказать, о спутниках смерти, черствости, силе, о свежести бытия, слабости, гибкости. О том ли отверделом, что победить не в состоянии. Правда, режиссерское плечо оказалось не столь надежным, как этого хотелось бы. Повалившись в песок, в отчаянии закричал: это я шалю, ну, то есть балуюсь! Песчинки скрипели на зубах, вязкая слюна капала на мою черную водолазку, кошмарное зрелище, представьте себе. И рядом не было мамы, не было друга Лапшина, не было желания разбираться, чего хочет мое поколение, какое оно, мое поколение. Пофамильный список граждан моего поколения, составленный впоследствии одним видным социологом кроме смеха не вызвал ничего более. Кроме того, несправедливость, с которой сталкивается каждый Миша Токарев этой страны, желающий просто-напросто, понимаешь, посетить клозет и справить малую нужду. Порою заставляет усомниться в адекватности литературных министров, раздающих премии, но это я утрирую с высоты прожитых лет. Тогда же, в нежном возрасте, несправедливость воспринималась особенно остро, что и говорить, вы сами прекрасно знаете.

Судя по всему, мне удалось прийти в себя спустя минут десять, глаза сверх всякой меры слезились, словно в них попал слезоточивый газ, имеющий нежное название черемуха. Обезвоживание организма достигло феерических масштабов. Обезвоживание организма было подобно фразочке, произнесенной престарелым романтиком, что-то там о свете жизни, об огне чресел. Развратник произносил фразу, а кончик его языка совершал путь в три шажка вниз по небу. Кварцевые лампы исключали возможность глядеть на них без специальных очков. С грехом пополам поднявшись, побрел к этому, понимаешь ли, туалету. Совести у меня не было, как говорила некогда бабушка, зато у меня были оголенные нервы. Поясница ныла волчицей в период течки, мысленно пожелал Сталкеру Петровичу долгих лет жизни, что же он, думаю, не настоял, показал бы, где находится, затопленный женский туалет. Мы не гордые, сходили бы в женский. А теперь лишь себя остаётся винить. Пройдя метров сто, услышал пульсацию неясной этимологии. Стоило приглядеться, как впереди был опознан мною один из подарков зоны отчуждения, комариная плешь. Область с аномально высокой гравитацией, область, в которую стоило только попасть, как вы неминуемо превратились бы в расплюснутую банку с консервами.

Любимые эпилептики, электрики, девушки Лиды. Ценители эклектики, апартеида. Граждане с крайне низким либидо, поэты маститые. Соседи с запущенной формой артрита. Запойные, небритые, девушки Риты. Товарищи понятия, любители фильмов Митты, ты и ты, а еще ты. Носители голубой бороды, зрители сериала «Менты». Дети, коты, вернее, женщины, что стоят сейчас у плиты. Мужчины, что стоят сейчас на бирже труда. Те горожане, у кого любимым уроком была лит-ра, знаю среди читателей одного учителя труда. Любимые инспекторы по делам несовершеннолетних, семидесятилетние эпикурейцы, красноармейцы, иждивенцы, друзья с абстиненцией, туземцы и даже пришельцы. Ответ на крайне важный вопрос, отчего же я снюсю некоторым людям в этой жизни, доставшейся нам без всяких проверочных слов, пишете на слух, заглавная Ж, потом Ы. Вернее, возможный ответ на данный вопрос, он прозвучал вот, читайте, пожалуйста, выше. Вы успеваете погрузить свое заброшенное тело в заброшенное платье, вы та, о ком говорю, вы знаете, что я о вас говорю. Сегодня великая ночь, ночь с пятницы на понедельник, сегодня великая ночь, когда можно сорить, поэзия потусторонний мусор, сорите, будьте любезны, сорите,

даже если несколько сомневаетесь. И как вы понимаете, посетить клозет в дремучем детстве мне довелось, иначе я бы с вами сейчас не разговаривал, понятное дело.

Результаты того памятного похода в туалет весьма неясны. Попросту говоря, совершенно позабыл, что же там произошло. Да, на правах литератора я могу приукрасить, досочинить. Однако мне хочется быть честным. Когда говорю с вами, мое сердце за, за, заикается. Мое сердце полно любви к вам, любви, благодаря которой возводятся храмы. Любви, похожей на крепкий сон человека в состоянии анабиоза. Отцы и дети полка мои читатели, глядящие искоса на всякое проявление художественного вымысла. Пациенты дневных стационаров мои читатели, произносящие волшебные слова во время молитвы, что образуют голубоватый туман-обман вокруг всех нас. Джентльмены с зависимостью от гречишного меда, лежащие прямо сейчас в казенном учреждении на улице Библиотечная, дом тридцать восемь мои читатели. Вы мне тоже, представьте, сегодня приснились, так что мы квиты.

### **Пятнадцатая глава, в которой становится очевидно, всякое дыхание хвалит Господа нашего**

Художник нам изобразил глубокий обморок сирени, а Миша нам изобразил уверенный распад человеческой личности. Токарев, накаченный транквилизаторами и детским питанием, угрожает Юрию Валентиновичу бананом. Пассажиры кукурузника, АН-2, если угодно, летящего в Казахстан, изрядно напуганы. Растерявший чопорность литератор не сдержан. На нем темно-голубая рубашка с жирафами, на шею ловушка для снов, коричневые брюки с подтяжками, старомодные лакированные туфли цвета слоновой кости. Его голову венчает красная шапка-петушок с надписью: физкульт-привет. – Остановите транспортное средство, среди нас междугородний нулевой агент Юрий фон Ашенбах, – еле ворочая своим языком, обличает литератор Юрия Валентиновича. Постаревшего, но Юрия Валентиновича, некогда убившего Хомякову, мою одноклассницу, это совершенно точно теперь известно.

– Когда-нибудь все станет хорошо, и пастырь будет рифмоваться со словом пластырь, – постановил Токарев после эфира. Его взгляд к тому времени напоминал разбомбленный дом в Грозном, что покачивается при дуновении ветра, рискуя рухнуть. Этот дом, или взгляд рисковал рухнуть, утянув за собой Мишу, видеокамеру, ноутбук и целую съемочную студию. Тысячи электрических пользователей посредством специальных символов, пиксельных сердечек, цветных таблеток, белых голубок, единорогов. Массово, подобно тому, как провожали Иосифа Виссарионовича, выражали некое, Рыбкин был не в силах подобрать слова. По всей вероятности, Мишу читали не только психически нездоровые граждане. Как преждевременно полагал Семен Сикорский, например, ожидая встретить в комментариях к прямому эфиру сплошных чудиков. Однако поступающая корреспонденция, поражала личностями абонентов. Допустим, в Мурманской области, в тамошней библиотеке наличествовал читательский клуб. Члены данного клуба, преимущественно пенсионеры-филологи, на протяжении десяти лет каждое воскресенье читали одну из Мишиных книг. Они распивали чай с домашним печеньем, обсуждали отсылки, аллюзии, знали слово гипертекст. Временами пенсионеры интерпретировали отдельные главы, спорили, иными словами, вели светские беседы.

Немало удивило существование целой кафедры, где в числе прочих постмодернистов двадцатого века изучали творчество Токарева, являющегося, безусловно, придатком двадцать первого века. Словом, литератор был нужен гражданам, как порою бывает нужна инъекция инсулина диабетiku. Мишу читали в библиотеках сумасшедших домов пациенты, в институтских библиотеках студенты, в следственных изоляторах подсудимые. Кто-то постоянно писал курсовые, дипломные работы, научные статьи о поэтике Михаила. Представьте себе, старые номера «Волги», журнала, опубликовавшего все романы Токарева, нашлись даже в игровой комнате российской войсковой части на Крайнем Севере. Также Николая Спартаковича поразила всеобъемлющая доброжелательность, царившая в чате. Как правило, эфиры подобного размаха

требуют строжайшей модерации. Однако на протяжении всех двух часов ни один пользователь не был забанен. А это нонсенс, достойный игры способного ученика на троллейбусе двухструнном.

А на улице звенела капель. Оттаявшие мусорные пакеты напоминали путников, прилегших вдоль дороги отдохнуть. И одинокий клен руками разводил, дескать, весна, чего вы хотели. Токарев глядел на эту весну как на эротический журнал. Он подошел к рыжему коту, что нежился в лучах солнышка, лежа на зеленой скамейке у подъезда. После сумрака телестудии мы были ослеплены и дезориентированы. Литератор погладил пузико кошечки. – Весна без конца и без края, – одобрительно произнес он. Цвела верба, свистели скворцы. Солнечный луч полоснул по нашим глазам. В районе станции Речной вокзал было многолюдно. Школьники, завязав куртки на поясах, уподобились папуасам. Издавая булькающие звуки, они прыгали вокруг небольшого костра. – И небо измерялось высотой его взгляда, – изрек Миша, сделав большой глоток минеральной воды из стеклянной бутылки.

Николай Спартакович решил позвонить бывшей жене. И рвануть недели на две к детям. Мужчина чувствовал непреодолимую усталость. Он ощущал себя рыбой корюшкой, которая частично являлась огурцом и метала попеременно черную и красную икру. Проще говоря, выражаясь присказкой гражданина из девятого, понимаешь, отделения. Чувство ничем не взволнованности овладело Николаем Спартаковичем. И это чувство, знаете, оно наступило не сегодня, но существенно раньше. Однако именно сейчас мужчина, как будто не постеснялся озвучить, высказаться о своем состоянии. Припекало солнце, девчонки в цветных колготках чирикали на своем диалекте о мальчишках. И Токарев шел со своим клетчатым баулом, шумно принохиваясь. И были сотканы из немoty деревья, птицы, люди. Рыбкин подумал, причем тут немота, он достал телефон. Но батарея была разряжена. Ребята шагали по лесопарку, снег стремительно таял, как надежда найти работу парню с непогашенной судимостью.

Рыбкин упустил из вида литератора. Внезапно Николай Спартакович услышал всхлипы, доносящиеся откуда-то справа, там, где березка клонилась к самой земле. И ручеек бежал, задорно журча. На поляне умирительно плакал поэт. Коля подумал о том, что кочевая кровь несла по венам Токарева психиатрические коктейли. Он перешагнул останки вороны. – Миша, – обратился Рыбкин, – вы чего, вы же не сентименталист. – Коля, хлюпая лужами, подошел к писателю. Тот, поглаживая красный мох, сказал: смотри-ка, какой травой пророс для нас Геннадий Шпаликов. Утирая рукавом слезу, литератор поглядел многозначительно на Николая, невольно улыбающегося, как умственно неполноценный. – Мой мальчик, вам по-прежнему претят припадки безудержной трезвости? – спросил Миша, стремительно переменявшись в лице. Слезы обсохли, лукавая улыбка, словно сквозняк, гуляет на губах. – И ничего не претят, провокатор, – смеется Рыбкин. А на телефонный аппарат поэта поступает звонок неясной этимологии. – Лидия Снеговая звонит, бренчит, – комментирует писатель. И спешит ответить: неминуемая жизнь, Лидия, неминуемая жизнь вокруг.

Николай Спартакович, закуривая в тени разлапистых деревьев. Подумал, ого, Лидия, сколь великая женщина позвонила обворожительному литератору. Именно благодаря Снеговой журналистская звезда Миши до сих пор не затухла. Для издания Лидии писали статьи сплошь суффражистки. Однако взгляд Токарева на современные геополитические и социокультурные процессы был подобен красному советскому флагу, что развеивается над разрушенным энергоблоком. Статьи Токарева как пример художественной журналистики Рыбкин и его однокурсники разбирали на занятиях в институте. Николай Спартакович прислушался к разговору. – О, Снеговая, – кричал Миша, – посмотри в эти косноязычные глаза! – Оттененная гроздь рябины едва заметно покачивалась. Машины, покашливая, мчали по шоссе, что протекало совсем рядом. – Послушай, я спекся, они меня съели, эти новые формы рецептов, эти поэты, не имеющие нахальства сказать, что это стихи, – литератор, присев на корточки, закрыл глаза. – О, Снеговая, в тебе говорит неистребимое желание быть, однако не быть боится щекотки, – писатель, умолкнув, засмотрелся на скворца. Потом слушал речь женщины. – Казахстан, знаешь, Лидия, Казахстан, – литератор



лизнул красный мох. Он явно играл на публику, отметил Рыбкин. – Я в деле, только мне нужен второй билет для моего соавтора, – произнес Миша, подмигивая Николаю.

Мне вспомнилась вдруг юношеская библиотека в городе Калининграде. Подшивки журнала «Волга». И жизнь тогда казалась особенной, казалось, вот-вот, завтра случится нечто настолько грандиозное, что я буду не в силах вместить этот кудрявый пейзаж. Невинно-розовый, как внутренности херувима. Сколько же мне было годков. Кажется, совсем не уверен, конец школы, лет семнадцать. В иной, дождливый и пасмурный, да, несомненно, дождливый и пасмурный день девушка, с которой романтично дружили, отвергла меня. И скорби не было предела. Да, Токарев не боялся писать, не боялся забредать в эти дебри, где опадали метафоры, цвели гиперболы, благоухала грубая ругань. То был переходный возраст, понимаете, Мишина литература работает с широчайшим спектром тем. Словом, он меня поддержал тогда, Калининград, подшивки журнала «Волга».

– Малыш, – произнес Токарев, прищурив глаза на солнце, – поедешь со мной в Казахстан? Николай Спартакович усмехнулся, он снова почувствовал себя юным октябренком. Предчувствие, предощущение неких грядущих свершений. Рыбкин и сам не мог сказать с определенностью, что это за чувство такое. Будто ничем не взволнованность лишилась коварного не. По самой кромке поляны шли две старушки в оранжевом и голубом флисовых комбинезонах. Их лыжные палки стучали по наледи. – А что там, в Казахстане? – спросил Рыбкин, внутренне решаясь на поездку. – Напишем серию очерков о гражданах, проживающих вблизи ядерных полигонов, – отвечивал поэт. Коля хотел спросить что-то еще несущественное, как междометия. Заморосил дождь и незримые руки принялись старательно отжимать деревья. На воспаленном шosse взорвалась машина, лопнул прыщик. Токарев поспешно звал на плечо сволю баул. Гудел вдали завод по производству погоды. – Поспешим, коллега, – задорно крикнул Миша. Рыбкин едва попевал за ним. А дождь все шел и шел, и мужчины тоже шли и вышли к станции метро Ховрино. У побеленных яблонь черная собака с рыжей опалиной на боку копошилась в синем пакете. Дождь перестал. Ветер наматывал небо на шею редких прохожих.

– Миша, – сказала Николай, – а на сколько мы летим в Казахстан? Литератор безмолвствовал, он глядел на деревья химкинского леса, что начинался за кованым забором, на расплзающемся голубоватый туман. – Малыш, мы можем вовсе не вернуться, независимая журналистика есть танец двух влюбленных в жерле работающего атомного реактора, – сказал писатель, поморщившись от собственных пошлых словес. Потом он приобнял Рыбкина за талию, грустно вздохнув. Из метро выходила гражданка с лицом гиппопотама, она демонстративно фыркнула: тьфу. Ее серый плащ развевался на ветру. Дама обладала неверной осанкой, двоичница, подметил Николай Спартакович. Литератор, увлекая Колю в сторону промзоны, произнес: нам предстоит немало дел до нашего вылета. Рыбкин шел за Мишей, размышляя. Бесследно канет очередной день, а быть притороченным к профессии, точно листик приторочен к ветке, весьма трудно. Николай находился в журналистике двадцать лет. Находился подобно тому, как находятся пропавшие дети, что любят сбегать из дома. На красном кирпичном здании, под самую крышей была выложена мозаика: миру – мир! По правую и левую стороны тянулись складские помещения, ангары, шиномонтаж, фейерверки. Токарев обогнул социальную столовую, перед которой на траве была целая россыпь дремлющих котов. Писатель спустился по лестнице, постучал кулаком в черную подвальную дверь.

На пороге их встретил рослый гражданин с голубыми раскосыми глазами, по-рыбьи выпученными. – О, поэт пришел, привет, – расплылся в дебиловатой, но пленительной улыбке незнакомец. – Не поэт, но точка встречи, – поправил Миша, обнимая белокрысого мужчину в джинсовом комбинезоне и белом переднике. Человек из подвала посторонился, Рыбкин шагнул в черный квадрат вслед за Токаревым. Коля услышал аромат хозяйственного мыла, чего-то терпкого, мускус, ваниль, бергамот. Николай Спартакович, воследовавший за литератором и мужчиной в белом переднике, с удивлением помыслил. До чего странное место, до чего мне нравится эта истончающаяся жизнь. Должно быть, недаром все мы выросли из гоголевской шинели. Джент-

льмены шли вдоль труб, хрустел битый кирпич под ногами. – Заживал битый кирпич, заживала истлевшая спичка, – подивился вслух поэтическому прозрению Рыбкин. Красноватый дежурный свет едва освещал Мишину спину. Он произнес, не останавливаясь: очень пронзительно, малыш, очень пронзительно. Гражданин с короткими белыми волосами завел их в просторную комнату. Терраотовой плиткой выстлан пол. Длинные лампы, излучающие холодный синий свет, напоминали личинки неведомых космических насекомых. Кремовый кафель на стенах. Прямоугольные зеркала, деревянные кресла с бордовыми сидениями, как в парикмахерской. Красные треугольные флажки на ниточке развешены по периметру комнатенки.

– Там, где эллину, понимаешь, сияла красота, нам она тоже должна, понимаешь, сиять, но никак не срамота, – произнес Токарев, усаживаясь в скрипучее креслице. В руках гражданина блеснула бритва «Чайка» с черной пластиковой рукоятью. Николай Спартакович взяла осторожно, он взглянул на лицо поэта в зеркале. Тот улыбался, и столько в этой улыбке было нежности, что казалось, не случилось ни Афганистана, ни Чернобыля, ни городов, наводненных китайской синтетикой. – Петр Абрамович, ты сегодня в гордом одиночестве? – спросил Миша. Парикмахер, укутывая поэта в голубую простыню. Произнес криливо: остальные на диспансеризации. – Присядь в кресло, мой мальчик, подожди своей очереди, – сказал Токарев. Николай Спартакович последовал совету. Он с удивлением заметил не замеченную раковину посреди комнаты. И пол шел под наклоном. Как будто раковина была настолько тяжела и монументальна, что пол прогнулся в этой точке. Рыбкин следил, как Петр Абрамович орудует ловко помазком. – А какое имя у той женщины, ее рассыпчатое имя мне сложно вспомнить? – задался вопросом писатель. Гражданин, явно смутившись, выкрикнул, смеясь: Александра, мы с ней хотим пожениться, ее бабушка-опекушка дала добро! – Вот как, поздравляю, – обрадовался Миша. Парикмахер, положив свою грандиозную пятерню на макушку литератора, уверенными движениями бритвой приводил заросшего Токарева в детский садик. На запястьях Петра, увидел Рыбкин, красовались синие, выцветшие наколки, колючая проволока, роза, нечто совершенно нечитаемое. Поэт, прикрыв глаза, задремал, его посапывание напоминало свистящее дыхание хомяка или ежика. Коля взглянул на чудного Петра Абрамовича и несколько занервничал. Казалось, тот ему подмигнул своим левым, рыбьим глазом.

Николай Спартакович и сам не заметил, как уснул. Разглагольствовал пиит: постмодернист, по выражению Умберто Эко, есть влюбленный, который не может сказать напрямую, я тебя люблю, крошка. Еле слышно пылая певица щebetала по радио: спи, я завтра зайду за тобой после семи, я зимнее солнце и я проявляюсь все реже и реже. Вдруг приснилась куртуазная ругань Барановой, когда барышня узнала, что в школе закрыли драматический кружок. Швейка, странного педагога, призвали на службу. И на войне, прильнув к зенитной установке, Василий Александрович Швейк осознал, как сильно любит Родину. – Просыпайся, малыш, – сказал Токарев, по-отчески потрепав Николая по голове. Рыбкин медленно раскрыл глаза-цветки. Миша, гладко выбритый, подстриженный шапочкой, изучающе рассматривал Колю. Литератор напоминал всепрощающего падре. – Теперь Петр Абрамович может заняться тобой, – произнес он. – Не надо мной заниматься, – сонно проговорил Рыбкин. А потом взглянул на себя в зеркало и увидел мужчину на самом рассвете, на таком рассвете, когда хмурые школьники, замученные биссектрисой, бредут на уроки. – Я бы воздержался от стрижики, в феврале только подстригался, – прокомментировал свое неспортивное поведение Коля. Зевая, точно кашалот.

– В таком случае, вынужден пригласить тебя намочить перышки, – Токарев был точен в определениях, словно тень автобуса, что сбила хмурых школьников по заданию биссектрисы. Петр Абрамович, вероятно, растеряв терпение, негодуяще воскликнул: Миша, я открываю бассейн! – О, дражайший, открывайте, – подбодрил его поэт. И дражайший парикмахер, подойдя к неприкрытой белой двери, что совершенно терялась на фоне кремowych стен. Отворил эту самую дверь, задумчиво произнес: пчелы слетались на мед ее дыхания. Токарев, закашлявшись, спросил: Петр, сколь изящно вы сформулировали мысль, вы по-прежнему сочиняете поэмы? Гражданин залиvisto рассмеялся, отвечал: это как раз фрагмент вещи, над которой я сейчас работаю,

называется: люди, сделанные из мыла. Николай Спартакович весьма подивился способностям парикмахера, поначалу тот показался ему крошечным кретином. – Пойдем, Коля, пойдем, – поторопил писатель. И первый, пригнувшись, вошел в соседнюю комнату. Петр последовал за ним. Николай, влекомый любопытством, тоже заглянул в помещение.

Парикмахер спровоцировал свет, зажег лампы. И желтоватый, точно подсолнечное масло, свет залил все вокруг. Голубая мозаика на стенах, дельфины, серые рыбки. Бассейн, метров пятнадцать в длину, метра три в ширину. Николай Спартакович шагнул навстречу Токареву, стремительно раздевающемуся до бирюзовых трусов. – Бабушка Петра Абрамовича, парапсихолог Нинель Сергеевна Кулагина, – произнес поэт. Петр визгливо рассмеялся, в очередной раз несказанно напугав Рыбкина. Мужчина понял, кого напоминает ему хозяин подвала, кузнечика. – Нинель Сергеевна мастерски меняла структурную сетку воды, – оповестил Миша, – свои знания она передала внуку, вот ему. – И что ж, каков эффект? – робко спросил Коля, с опасением поглядывая на зеленатоватую воду. Литератор, не проронив ни единого слова, нырнул в бассейн. Его тело исчезло, стало напоминать биссектрису, которую тоже никто не видал. Однако та наблюдала за каждым, притаившись в темном углу. – А есть вероятность, что я перестану быть? – задал резонный вопрос Николай Спартакович, медленно расстегивая белую рубашку. Петр Абрамович вновь рассмеялся. Ответствовал: скажешь тоже, конвенция эксплицитно не предусматривает этого сценария. Зеленая венка на шее Петра, точно прожилка листика, пульсировала. В его раскосых голубых глазах Рыбкин прочитал первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. И данное событие весьма тронуло мужчину. Он отчего-то медлил прыгать в бассейн. Стоя босиком на холодном кафельном полу, Коля высматривал Мишу в непроницаемо темно-синей воде. – А чего цвет поменялся, чего такое? – поинтересовался Коля. Некстати вспомнив, как они в детстве играли в докторов и лечили здоровую кошку. – Так он ведь поэт, вернее, точка встречи, небесная нега и все такое, – улыбнулся парикмахер. И улыбка его на этот раз обладала чертами некой доброжелательности.

Николай Спартакович, задумавшись дотла, как спичка, над тем, а что если бывшая жена внушит детям, ваш папа не ваш папа. И когда они подрастут, позабудут его и не станут даже общаться, как с террористом. Боже, внутренне воскликнул Рыбкин, как с террористом. В известном смысле журналиста в очередной раз поразили установившиеся после очередного запоя отношения с матерью собственных детей. Клара была богиней ипохондрии, для которой Николай являлся миром. И она частенько благодарила мир взрывами бомб. Коля с удивлением подумал: а ведь любовь к этой женщине по-прежнему цветет в саду моей души. – Молодой человек, имейте совесть, прыгайте, – произнес Петр Абрамович, бесцеремонно подтолкнув Николая. И вода, приятная, точно горячее молоко с медом, что проливается в простуженное горло, проглотила Рыбкина. И привкус хлорки на губах, и легкие, как спирт горят.

Мимо журналиста проплывал величавый сом. Гусарские усы рыбины как будто бы невзначай пощекотали Коленке спину. Мужчина ощутил себя письмом до востребования, он опускался все ниже и ниже. Желтая пожарная каска докоснулась ноги. Николай Спартакович с изумлением посмотрел на размокший букварь. Какой-то неправильный бассейн, усмехнулся он, рассматривая черно-белый снимок незнакомого класса. Досужие взоры окуней несколько обескуражили. Рыбкин, ужаснувшись предстоящему небытию, воспротивиться был не в силах. В глазах плясали настоящие искорки фейерверка, принятые поначалу за огонь электросварки. Вода переменяла свой цвет, сделавшись нежно-зеленой. Ко всему прочему, Николай Спартакович осознал себя русалочкой. Перепонки на пальцах показались любопытным, если не сказать закономерным возвращением к предкам. Коля, подобно амфибии, развил высокую скорость. Зубастая рыба-удильщик освещала своим фонарем проплывающие мимо предметы, пианино «Аккорд», советское стоматологическое кресло. Старые вещи, застывшие в янтаре, заставили Рыбкина погрузстнеть. Мужчина приметил, дно бассейна устлано противогАЗами. Хрупкая, словно ампула, мысль посетила голову отца двоих детей. ПротивогАЗы тут неспроста, как неспроста кошка ложится на грудь хозяина. Николай-русалочка принялся перебирать эти безмолвные резиновые лица. В некото-

ром отдалении медленно проплывала желтая бочка с красной надписью: квас. Внезапно ладони обожгло холодом. Испытующий взгляд Николая смутил металлическую дверь, покрытую слоем наледи, сокрытую противогазам. Забытую тут прошлыми жильцами. Рыбкин повторно взгрустнул, предавшись невеселым размышлениям о собственных детях, уродившихся не русалочками. Впрочем, обуздав эмоции, он взялся за дверную ручку, как наши отцы, ушедшие за сигаретами в ночь. Хриплым взглядом на тебя, шестилетку, на прощанье глядит отец и уходит.

Велосипедная цепь шелкала цикадой. И было невероятно душно и дома закипали, как чайники. Николай Спартакович обнаружил себя в кресле-качалке. На сложенном столе-книжке стояла двухлитровая банка с чайным грибом. Паркет-елочка, исчерканный, будто когтями животных. В румынском шкафу-стенке коллекция гжели. Пузатый «Рубин» беззвучно работал, показывал утопленный в зелени Пятигорск. Дверь секретера открыта, там польская водка Выборова, рижский бальзам, чешская Бехеровка, заграничные журналы с выкройками. Люстра с перламутровыми подвесками. Окно распахнуто настежь, у окна роскошно раздетая девушка курит. Рыбкин взглянул на свое обнаженное тело, на свой живот, похожий на желтое яблоко в прелой траве. Засмутился. Покачиваясь в кресле, приметил до боли знакомую подробность на правом бедре барышни. Два премилых полумесяца-шрама, в детстве цапнула крыса. Мужчина опознал в мадамзель собственную жену, помолодевшую лет на двадцать.

Лучи солнца нагрели паркет. Босоногий Николай Спартакович, осторожно ступая, подошел к окну. Мякоть асфальта, иероглифы веток, младенчество листвы. И воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы. Кругом, должно быть, расположен апрель, весна расставлена кругом. На подоконнике белая пачка болгарских сигарет. Запах горелой прошлогодней листвы, сирени, черемухи. На клумбе тычпаны желтеют. Следы от полозьев санок на ее щеке, или от подушки, кто разберет. Девушка тушит бычок в хрустальной пепельнице. Говорит, прильнув к плечу Николая: надо купить нафталин, будем убирать зимние вещи. Мужчина развернул супругу спиной к окошку, обнял. Кольхались верхушки деревьев. Макушка жены пахла земляничным шампунем. В красном автобусе возвращались ребята со смены. В мареве виднелась атомная станция. Грандиозная, словно уста любимой женщины, или уста этого общества.

Приставший к щеке супруги солнечный луч, она смеется. – Пусти, – говорит, – я вся потная. – Николай, кажется, услышал то, что сказала жена в том, что не сказала. Жена звала в душ. – Я не звала тебя в душ, – морщит нос, прогоняет, кокетничает. Молодожены, толкаясь, смеясь, бредут по коридору. На голубых стенах висят книжные полки. Жюль Верн, Эдгар По, Василий Аксенов глядят с недоверием на счастье молодых. На кухне из жестяной миски шумно лакают воду два черных кота. Белорусский кухонный гарнитур апельсинового цвета. Стены и потолок отделаны темно-каштановой вагонкой из лиственницы. В мойке вавилонской башней высилась стопка грязной посуды. И где-то там у основания той башни царь Навуходоносор в трениках с пузырями на коленках, в тельняшке, небритый топал с авоськой в универмаг. На плите стоял красный в белый горох чайник со свистком. По зеленой клеенчатой скатерти ползла божья коровка. И ощущение такое было, что избрали они безоблачный путь по глубоким дорожкам лета в нежной жимолости. Изумительно синее небо плыло за окном над тяжелыми ветвями Шервудского леса прямо в запредельность, в какую-то запредельность.

Коля, ступив на прохладный пол ванной, сказал: уф; наноса поцелуй в плечо жены. Угловатость неопытной молодости, несмелость, растерянность, будто сейчас позвонят в дверь. Она прильнула своими губами к его губам, отстранилась, засмеявшись воркующим смехом влюбленной девы. Сладкое оцепенение охватило Николая, кровь пульсировала в голове, от переполнявших его чувств он укусил ее тонкое загорело запястье. – Дурак, – прошептала она, залезая в глубокую чугунную ванну. Вода доходила до колен, пена шипела. Она кладет свои руки на бетонную стену, не успевшую познать плитку. Коля накрывает своими ладонями ладони жены. Гул, весьма похожий на подавленный стон, проносится по рядам, бинокли нацелены на молодоженов. Его блуждающее теплое дыхание, невесомые каштановые пряди ее волос волнуются. Линии тел полны античной грации. Щеки жены разгорелись, губы блестели, миндалевидные глаза полуприкры-

ты, маленькие слезинки выступили в уголках. Приятное, словно когда чистишь ватной палочкой уши, действие всецело захватило Николая Спартаковича, можно без отчества. Капли воды скатываются с ее груди, розоватые ореолы, словно морошка. Хвойный лес у нее там, он, как будто медведь, прет напролом. Поток воды, ее дыхание учащается, шипение пены, ноги подкашиваются.

Коля имеет непреодолимое желание откусить от супруги кусочек, у нее исключительно нежные щеки. Впрочем, сиюминутное побуждение уголовно наказуемо, нам ни к чему проблемы с законом. – Выключи воду, мы сейчас захлебнемся, – сказала Клара, она лежала на молодом человеке. Четыре колена, выступающие из пены, напоминали паучьи конечности. Николай не собирался закрывать кран, мокрые волосы супруги прилипли к его лицу, попали в рот, ему было приятно. – Ладно, я сама, – взяла инициативу в свои руки девушка. Они качались на волнах, прикрыв глаза. – Знаешь, как Варя называет секс? – неожиданно заинтересовалась жена. – И знать не хочу, – знать не хотел Николай, подруга их семьи Варвара была легкомысленной особой. – Она сравнивает половой акт и теннисный матч, или летнее соревнование по легкой атлетике, а еще говорит, что желание порой сильнее тропической жары, – несла чепуху Клара. – Пусть тогда попробует посетить экватор, – посоветовал молодой человек. Разговорчики о том, кто, как называет плотскую любовь, смешные такие, точно карикатуры Херлуфа Бидструпа, неожиданно взволновали молодого человека. Так взволновали, что был он готов надеть вместо галош варежки. – А кому это там хочется продолжения банкета? – спросила, разувывавшись, Клара.

Николай трогал ее затвердевшие соски, ее волосы по-прежнему липли к лицу мужчины. Грешные отверстия ниже пупка, вспомнились слова бабушки, что привела в детстве в церковь и забыла. Возбуждение росло, как на дрожжах. Вода, перебравшись через борт ванны, посыпалась на пол. Супруга вскрикнула, в первом ряду тоже вскрикнула впечатлительная дама, стала себя трогать в разных местах. Супругами овладели какие-то совершенно немые процессы, целый комплекс физико-химических процессов, протекающих в плавильных печах при переработке заранее подготовленных материалов. Технология плавки отличалась целым спектром операций, проводимых в течение времени, необходимого для клонирования овец, воссоздания государства Израиль в Палестине, открытия группы крови на рукаве, открытия Южного полюса, открытия пенициллина, закрытия вопроса об НЛО в Розуэлле. Росла температура, росло давление, отчаянно не хватало воздуха, топливо продолжало гореть. Капли расплавленного чугуна, газ поднимается вверх и своим теплом согревает соседей сверху. Происходят изменения химического состава сплава, кремний и марганец выгорают, но содержание фосфора остается без изменений. Супруги были близки к созданию литой детали, необходимой этому миру детали. Детали, полученной без соблюдения необходимого уровня механических и служебных характеристик. Детали, полученной в результате отклонения от предзаданных размеров, конфигураций, параметров шероховатости. Супруги кончили одновременно, воды почти не осталось, супруги напоминали сомов на берегу, сомов, что сплелись хвостами в приступе смертельной любви.

И когда они смолкли, дыхание выровнялось, где-то там, за пределами печи, квартиры, произошло нечто совершенно непоправимое. Истошно закричали кошки, на кухне с грохотом что-то упало, стекла задрожали, захлопали соседские двери, прямо-таки траурные аплодисменты, непонятно кому. Николай первый вылез из ванны, хлюпая, он вышел в коридор, Клара, воскликнув: дорогой, боже, ты Николай Первый! – последовала за ним. Они стояли в зале у распахнутого окна. С какой-то критической изощренностью глядели на буйство рукотворного конца лета. Омываемые ласковыми потоками ветра, ощущений и мыслей, супруги были предоставлены сами себе, лаяли собаки, пожарные красные машины мчались по дороге. Мамочки с колясками под нестройный аккомпанемент, под этот фееричный детский плач с ужасом глядели на станцию. Багровый конус вокруг полосатой вентиляционной трубы, метров двести пламя, колоссальная неприятность. Активная зона не в силах была вздохнуть, вода в резервуарах отсутствовала, останки реактора полыхали. Двор наводнили граждане, они беседовали на повышенных тонах, выясняли, кто сегодня на смене там. Воздух мерцал, напоминая старую кинолентку, соседку снизу стошнило прямо на клумбу. К ней бросились девушки, усадили на лавку. Кожу покалывало, точно ребе-

нок-садист принялся тыкать в нее булавкой. Небо над самой атомной станцией заволокло черными тучами. Из-за поворота выехала поливочная голубая машина. Из длинного черного шланга была струя воды, пенились белые лужи, шипели.

Странная мысль посетила молодого человека, когда-нибудь ее стареющие ноги оплетут сине-зеленые вены, точно трещины, оплетающие бутылку в погребе. Может, бросить все, укатить жить в новую арктическую республику, где погода не занимается проституцией, где всегда прохладно и думается превосходно. А что, напишу там великий русский роман, почему нет. Туда переехала мать, репатриация, возвращение на Родину. Но там, наверное, нет персидской сирени, как же мы без персидской сирени проживем. А еще Рыбкин подумал, что любит Клару, пожалуй, больше, чем содержится знаков препинания в толстенных книжках в библиотеке. И важна она ему, как открытие ствольных клеток, важна не меньше. Он взглянул на нее, и его любящий взгляд подавился слезинкой. Супруга спросила: Коля, мне страшно, мы можем уехать? Ну, конечно же, можем, дурочка, ведь массовая эвакуация начнется только завтра, мы можем уехать, сесть в автобус, потом посетить консульство, подать документы, репатриация, возвращение на Родину. Месяц – и мы в новой арктической республике, дорогая. – А еще перестань рвать на мне колготки каждый раз, когда ты рад меня видеть, – просит Клара, шутит, прячет растущую, словно женская грудь от капусты, панику. Они были по-прежнему обнажены, голая жена нравилась ему больше, чем голая правда.

– Малыш, у нас закончились лекарства и варенье, но варенье не главное, надо срочно в аптеку, – поставил меня перед фактом поэт. Принарядившись в белую простыню с прорезями для глаз, он чрезвычайно рисковал. Двое охранников еле слышно беседовали, с подозрением поглядывая в нашу сторону, в руках у них были электрошокеры. Их синие рубашки напителись потом. В маленьком аэропорту, где прямо на взлетной полосе дремали коровы. Где пассажиров раз-два и обчелся. Мы там сидели, а вокруг Казахстан. Червякова Юрия Валентиновича спешно увезли в неизвестном направлении, предварительно упаковав того в синий пакет. Человеку из моей доисторической юности стало плохо, врачи сказали: плохо. – Плохо, – сообщил и Миша, – если междугородний преступник склеит ласты и не сможет ответить на вопросы в конце параграфа. Перед тем как его увезли на каталке, он успел прошептать: прости. Меланхолично работает кондиционер, жужжат мухи, тянет сладковатым запахом национальных сладостей, пончиками баурсаки, медовым чак-чаком. Ночь моих воспоминаний о Кларе прошла точно черный бык, эта глыба мрака напугала ревом округу, ревом, подобным буре, да растворилась, в смысле, ночь растворилась. – Я там сейчас пережил кое-что, – говорю, а губы сухие-сухие, точно прием у дальних родственников, приютивших пожить, пока не выдадут общежитие. Литератор отбрасывает простыню, его наряд сейчас такой: оранжевая рубашка с короткими рукавами, голубые облегающие шорты, красно-желтая кепка с пропеллером, на шее висит портрет Астрид Линдгрэн, вернее, пожилая тетушка на портрете просто похожа на писательницу, в самолете поэт выменял его на честное слово перестать пугать пассажиров. – Мы перестали ходить по улицам, потому что ходить по крышам приятней, – говорит, а мне трудно понять, с четвертой попытки фраза выглядит именно так. Он плетется со своим баулом к выходу, я за ним.

Улица, казалось, выкушена плоскогубцами из киноплетки о диком западе. Салуны с двойными дверьми. Откуда-то послышался выстрел. Скрипел под ногами песок. Нестерпимо палило солнце. Грустное горловое пение, что извлекал из собственных недр мальчишка в темно-зеленых шароварах, в национальном халате чапан, черном, расшитом золотыми узорами. Его горловое пение отличалось какой-то кромешной тоской. Его лицо было серьезным, он пел не на авось, наверняка знал, чего добивается. Синий войлочный колпак, кожа на щеках загубела, напоминает красное дерево. Токарев наклоняется, протягивает музыканту горсть монет из своего целлофанового мешочка, который используют в качестве кошелька. Как же говорил Геродот о казахах, как же он там, этим людям никто не делает обид, потому что эти люди священны. А вот Лев Гумилев делился в каком-то своем интервью, мол, дружба с казахами показалась ему крайне непростым занятием. Помнится, он советовал быть искренним с ними в общении, уважать сво-

образии их обычаев. Пожалуй, я больше ничего не знаю о казахах. – Юра Семецкий когда-то написал, наступила осень, падают листья, мне никто не нужен, кроме ты, – прочитал по памяти Токарев. Пошатываясь, литератор направлялся в сторону аптеки. Одноэтажной белой избушки, что в упорном одиночестве притаилась на самых задворках, за салуном. Нам сигналил из желтой «копейки» таксист, его золотые коронки сверкают. – Нет, нам не надо, спасибо! – кричу ему, спешу за поэтом.

– Генетическое уродство это родство с божественным, ты так не считаешь, но считаешь ты как? – спросил, когда мы вошли внутрь. Беседовать с этим искусственным интеллектом совершенно нет мочи. По прилавку разлита тетушка, вентиляторы дуют с двух сторон, воздух густой, горячий, кажется, его можно даже пощупать. – Мне бы от сердца! – закричал мой коллега, а в том, что Михаил сейчас мой коллега, не было никаких сомнений. Начиная с Москвы, он записывал заметки в блокнот, а когда стал не способен держать карандаш, принялся надиктовывать на диктофон. Аптекарьша, словно пролитое коричневатое молоко, собралось обратно в стакан. В дендрарии головы фармацевта росли березы, сибирские лиственницы, бузина и сосны, отчего-то все древесные растения были седыми. Широкий нос цвета сангрии, большие черешневые губы, багряная бородавка на шее, очки в квадратной коричневой оправе. Миша принялся громко перечислять названия препаратов, увы, незнакомых мне, поэтому конкретики не будет. На стеллажах за спиной женщины лежали коробочки с медикаментами, пылились зеленоватые и розоватые пузырьки. На прилавке советский еще, бежевый кассовый аппарат, кажется, ОКА. – Предъявите рецепты, – закашлявшись, попросила тетушка. – Досада, великая досада, мои психиатры забыли выписать, а сами мы держим путь из другого города, но я доктор, доктор литературы, – плел откровенную чушь Миша. – Тогда можно взглянуть на ваше удостоверение, – сказала фармацевт, подозрительно сощурился глаза. – Минуточку! – возопил поэт, полез в клетчатый баул, принялся выкладывать на прилавок вещи. Плюшевого зайца с оторванным ухом, железный молоток для отбивки мяса, тетрис, мешок с зубной щеткой, пастой и мочалкой. Наконец он передал тетеньке стопку пожелтевших листов. Та долго вчитывалась, молча повернулась, набрала с полок медикаментов. – Вот, – сказала она, – у нас беспокойно, аптечные ковбои, знаете ли. – Ужасно, просто невысказано, – произнес Токарев, надламывая какую-то ампулу и выпивая залпом содержимое. Затем он закинулся двумя таблетками, раздумывая, принялся насвистывать марш Мендельсона, съел еще четыре таблетки. Аптекарьша глядела на нас круглыми от ужаса глазами, в открытый от удивления рот залетела муха. Женщина схватилась за горло.

– Всего доброго, доброго, да, – пожелал на прощание Миша и был таков. Я не совсем знал, что делать, кинуться ли к фармацевту на помощь, или ловить поэта, в незнакомой республике со мной могли произойти неправомерные вещи. Женщина судорожно хватала воздух руками, громко кашлянула, вроде пришла в себя. Мы вышли на улицу, а перед нами простиралась степь, засеянная красными маками, вдалеке виднелись горы, окутанные туманом. Две пегие лошадки паслись недалеко. Я перевел взгляд с лошадей на Токарева, с Токарева на лошадей, снова на поэта. И угадать, кто есть кто, был не в силах. Гуманитарный склад ума, знаете ли. – Малыш, – обратился ко мне литератор, – нам нужно в местечко под названием Кара-Тагай. Он заковывал к животным, нежно погладил бедро кобылки. Жеребец занервничал, фыркнув, забил копытом. – Хороша, словно дача обкома, хороша, – одобритительно прокомментировал мужчина. – Не вайляй дурака, пойдем, найдем автобусную остановку, – сказал я ему. – Ух, какой ты гадкий, давай отведаем конины! – но литератор ломал комедию, хотя кто знает, быть может, он решил в самом деле сожрать бедную лошадь. – Мне подумалось, что ты предлагаешь на них поскакать, – рассмеялся, глядя на то, как он обхаживает кобылицу, трется лицом о ее мордочку. Внезапно произошел форменный выстрел, в республике даже у детей наличествовали пушки. Мальчонка с автоматом Калашникова, чумазый, в оливковом спортивном костюме крикнул нам: э, ну-ка отойдите, это мои лошади! – Сынок, – Миша опрометчиво шагнул к этому подростку лет пятнадцати. В полуметре от литератора забил фонтанчик, очередь, выпущенная мальчишкой, заставила журналиста крепко задуматься. – Смотри, сынок, мы сейчас уйдем, а стыд за этот поступок останется с тобой

навсегда, – произнес Токарев, доставая из баула, почерневший банан. И мы вынуждены отступить, и мы вынуждены искать автобусную остановку, лошади не пострадали.

Жара стояла такая, что куры, бегающие по двору, запекались, потом падали обессиленные, опускали дух, поразительная жара стояла, сидела, лежала. Хозяйин белокаменной избушки, гражданин с горбатым носом, обнаженный по пояс, в синих спортивных штанах довольно цыкнул. На его бритой голове были млечные шрамы, торс украшали выцветшие наколки, в частности, на груди крест, над крестом надпись: Боже, суди меня не по делам моим, а по милосердию своему. На спине мадонна с младенцем. На шее веревка с петлей. На костяшках правой руки наколоты перстни. Его звали Абылай, Абылай приютил нас и согласился рассказать, как еще ребенком застал большие взрывы на Семипалатинском полигоне. Его женушка искала в доме фотографии, больничные выписки, дневники своего папы, участвовавшего в ядерных испытаниях. – Айгуль, куры готовы! – известил супругу мужчину, на его левой руке была синяя варежка, чтоб не обжечься, глава семейства держал дымящихся курочек за шеи. – Ребята, – обратился он к нам, – я пока схожу, выпотрошу, вы не скучайте. Мы восседаем за длинным столом во дворе. Раздается телефонный звонок, Токарев комментирует, отвечая: Лидия Снеговая звонит, бренчит, понимаешь. – Знаешь ли, в чем-то соглашусь с Николаем Васильевичем, конечно, но кое в чем не соглашусь, – говорит писатель, уходя в степь. Я слышу обрывки фраз: да, понятно, что добровольцев назначаешь ты. – Ну, дорогая, только забудь тебя и не забудут в конечном счете, – рассмеялся поэт, как мальчишка. И продолжил ерничать: ты хочешь секса сейчас, а я не могу, у меня дела на вокзале через час.

Маленькая казашка касается меня взглядом, ее глаза рифмуются с плодами винограда Конкорд. На ней желтый сарафан с вышитым цыпленком, прядь ее черных волос дрожит на ветру. Она стоит босиком на крыльце, изучает. Потрескивает кизяк в печи, мычит соседская корова. Передо мной два граненых стакана, в них кумыс. Кумыс очень холодный, стекло запотело, кумыс напоминает по вкусу кислые губы Клары, когда у той случился токсикоз. Бело-коричневый стервятник с оранжевой мордой и черным, хищно изогнутым клювом рвет на кровавые лоскутки, кажется, ворону, сложно сказать наверняка. Рвет бедняжку там, у закрытого колодца, символизирующего девственность, но стоит приподнять крышку, колодец станет символизировать утробу великой матери, элегически размышляю. На голове у меня болотного цвета панамка, однако голову напекло, будь здоров, спасибо, я не чихал. Девчонка переводит взгляд на пирушку, затеянную стервятником, хмурится, надувает свои щечки. Уверенно идет к этому колодцу, наклоняется, поднимая камень, бросает, пернатый киллер вынужден улететь, недовольно шипя. Казашка, стоя на коленях перед останками, перед этими птичьими деталями, водит над ними своими ручками, обласканными Казахстаном. Солнце слепит глаза, моргаю. Ворона, в самом деле ворона, косточки обрастают мясом, перьями, у нее на сетчатке мое отражение, склонив голову набок, она говорит: кар. Пошатываясь, делает шаг, шаг, шаг, подпрыгивает и летит. Какая талантливая девочка, думаю, а потом валюсь в деликатнейший обморок, унаследовав солнечный удар.